

Антон Абрамов

КАРТОЧКА РЕЧИ

№ 46217

ГОЛОС / ПАМЯТЬ

ИСТОЧНИК НЕСТАБИЛЕН

ПЕРВОЕ
ЛИЦО

АНТОН АБРАМОВ

Первое лицо

«Автор»

2026

Абрамов А.

Первое лицо / А. Абрамов — «Автор», 2026

Судебный транскрибатор Яна Резник приезжает в закрытый северный институт, чтобы разобраться в странном происшествии: профессор Павел Тронин найден живым, но больше не способен сказать о себе "я". В официальных документах нет виновных, только осторожные формулировки, пассивные конструкции и исчезающие следы. Институт изучает язык, который не описывает реальность, а подчиняет ее точному разбору. Здесь грамматика давно стала властью, а человеческая речь лишь материалом для эксперимента. Чем глубже Яна входит в расследование, тем яснее понимает, что дело Тронина связано с ее собственным прошлым, исчезновением матери и старым контуром под названием 1-Я. Чтобы назвать виновного, ей предложат идеальное свидетельство - чистое, неоспоримое и разрушительное. Но настоящая версия событий, произнесенная языком власти, может окончательно отнять у человека право быть собой. «Первое лицо» - мистический детектив о языке, памяти и цене фразы "я есть".

© Абрамов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Именительный	5
Глава первая. Телу холодно	5
Глава вторая. Несчастный случай	12
Глава третья. Архив лакун	20
Глава четвёртая. Чашка разбилась	27
Глава пятая. Акустическая камера	34
Глава шестая. Голос информанта	43
Глава седьмая. Именительный отсутствует	48
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Первое лицо

Часть первая. Именительный

Глава первая. Телу холодно

Водитель за два часа произнёс одиннадцать слов. Я считала сперва от скуки, затем из профессиональной вредности: у людей, которые привыкли возить других через закрытые территории, речь расходуется экономнее бензина, а каждое лишнее слово может стать записью, подписью, объяснительной, поводом для служебной беседы. На одиннадцатом слове он попросил убрать телефон. На двенадцатое, видимо, имелся отдельный допуск.

За боковым стеклом была северная трасса: чёрные сосны в снегу, низкое небо, обочины, срезанные плугом до твёрдых стенок, редкие столбы с табличками без названий. В свете фар всё получалось плоским и резким, словно мир существовал только в той полосе, куда попадал свет, а за ней начиналась бумага без заполненных граф. Я сидела на заднем сиденье, держала на коленях папку с направлением, паспортом, командировочным удостоверением и распечаткой письма, из-за которого сорвалась из Москвы за полсуток.

Письмо было на восемь строк. Восемью строк хватило, чтобы испортить мне ночь; в машине это ощущалось дольше.

«Просим прибыть в Лог-17 для консультации по речевому материалу, представляющему следственный интерес. Возможна утрата местоименной позиции у живого носителя».

Я перечла последнюю фразу ещё раз, хотя знала её наизусть. Утрата местоименной позиции. В нормальном учреждении так писали бы после инсульта, травмы, психиатрического эпизода, тяжёлой афазии, редкого, но описанного нарушения речи, где человек путает местоимения, выпадает из синтаксиса, заменяет «я» именем, третьим лицом, телом. В нормальном учреждении меня пригласили бы днём, прислали бы материалы, дали бы запись, выписку, имя лечащего врача. Здесь меня сняли с московского поезда ночью, пересадили в ведомственную машину и забрали телефон до первого вопроса.

— Долго ещё? — спросила я, когда трасса стала уже и шины пошли по колею.

Водитель повёл плечом.

— До шлагбаума семь километров. Дальше оформление.

— А гостиница?

— Разместят.

Он снова замолчал. Я поймала себя на желании вывести его на разговор ради простого человеческого шума, хотя сама обычно терпеть не могла попутчиков, которые от страха начинают пересказывать биографию проводнику, водителю, случайному соседу. В Москве я провела слишком много часов в комнатах, где каждая реплика становилась материалом; в дороге, среди сосен и снега, хотелось услышать что-нибудь бесцельное. Сколько здесь стоит хлеб. Какая рыба в столовой. Кто чистит трассу. Любой пустяк годился бы лучше, чем «утрата местоименной позиции».

Слово ушло в счёт: двенадцатое. Я отметила его без особой гордости. Усталость делает человека мелочным; профессия даёт этой мелочности приличный вид.

Телефон в кармане пальто показывал время последней связи с вышкой. Значок сети исчез после развилки, карта превратилась в серое поле. Я выключила экран, достала из папки письмо, положила обратно. В такие минуты я сама ищу бумагу: на бумаге можно спорить с чужой формулировкой, ругнуться на полях, подчеркнуть дурное место, поставить вопросительный знак. Экран слишком быстро гаснет; на бумаге след остаётся.

Развилка была обозначена стрелкой без населённого пункта. Асфальт кончился; дальше была утрамбованная дорога; машину качнуло, папка съехала с колен, листы ударились о коврик. Водитель даже головы не повернул. Я собрала документы, прижала к себе и неожиданно для себя разозлилась на собственную аккуратность. Человек, которого вызывают ночью к «живому носителю», имеет право быть менее собранным. Суд, однако, приучает к обратному: чем хуже дело, тем чище папка.

Шлагбаум возник за поворотом: бетонный блок, будка, лампа под металлическим козырьком, красно-белая стрела. Охранник вышел сразу, без жеста приветствия. Водитель опустил стекло, передал ему мою папку. Тот проверил паспорт, направление, командировочное удостоверение; на моей специальности задержался.

— Судебный транскрибатор.

— Да.

— Записи без допуска запрещены. Телефон сдать в приёмном корпусе. Самовольное перемещение между корпусами запрещено. Контакт с пациентами только с сопровождающим.

Он произносил всё это для воздуха между нами, где правила уже были внесены заранее, а моё присутствие требовало только отметки о вручении. Я расписалась в журнале. Почерк вышел хуже обычного. Охранник взглянул на подпись, будто подпись тоже проходила контроль.

В будке за его спиной висела доска с ключами, каждая бирка под номером, без названий корпусов. На подоконнике лежали термометр, пачка дешёвых салфеток, кружка с тёмной заваркой и раскрытый журнал посещений. В верхней строке страницы уже стояла моя фамилия, выведенная чужим аккуратным почерком, и рядом оставалась пустая клетка для времени убытия. Приезд оформлялся легче отъезда. Это я знала без всякой северной специфики.

Стрела поднялась. Машина прошла внутрь по узкой полосе с серой колеёй от многолетнего движения машин.

Лог-17 начался жилыми домами: пятиэтажные коробки с закрытыми балконами, одинаковые подъезды, редкие освещённые кухни, магазин с решёткой, школьный забор, почтовое отделение в пристройке. В обычном посёлке в это время хоть кто-нибудь попался бы на дороге: женщина с пакетом, подросток у остановки, собака, курящий мужчина у подъезда. Здесь окна были занавешены, остановка пустовала, возле магазина висело объявление о выдаче заказов по спискам. Люди, конечно, были; их перемещения, похоже, проходили по расписанию.

Институт находился выше, за жилыми домами. Серые корпуса соединялись крытыми переходами, окна светились неравномерно, главный вход оставался в стороне. На центральном фасаде белели новые буквы: «Северный институт реконструктивной грамматики». Под буквами проступали следы старого крепления, широкий прямоугольник иной краски, где раньше была другая вывеска. Я не стала спрашивать, какая. В таких местах старое название снимают с фасада раньше, чем из привычек.

У главного входа были широкие ступени, тёмные двери и стенд с объявлениями за стеклом. Машина проехала мимо, но я успела выхватить несколько строк: защита диссертации, перенос семинара, профилактика простудных заболеваний, перечень сотрудников с просроченными допусками. Всё выглядело до смешного обычно. Самые странные учреждения в России умеют притворяться конторой, где главная беда — опоздавшая бухгалтерия.

Машина свернула к боковому корпусу. Над дверью была табличка: «Медико-речевая часть». Гостиница, выходит, отменялась без обсуждения.

Водитель заглушил мотор и протянул мне конверт с фамилией.

— Внутри встретят.

— Кто именно?

— Дежурная.

Тринадцатое слово. Я решила прекратить счёт, пока он не стал диагнозом, взяла папку и вышла.

В корпусе было сухо, тепло и слишком ярко для ночи. Линолеум блестел от недавней уборки; стены покрывала зелёная больничная краска, местами стёртая на углах до серого слоя. Возле гардероба сидела женщина в синем медицинском костюме, коротко стриженная, с серебряным крестиком у ключиц и руками человека, который умеет быстро ставить катетер в плохой вене. Она поднялась до моего представления.

— Резник. Идёмте.

— Мне бы зарегистрироваться.

— Уже оформили. Сумку оставите у поста, телефон — в ящик.

Она забрала конверт, вскрыла ногтем, глянула во вложенный лист, вернула мне папку. На бейдже значилось: «Лисицкая М. В.».

— Вы врач? — уточнила я на ходу.

— Фельдшер. Я здесь бегаю, пока врачи пишут.

В её голосе впервые за весь путь было что-то, что не годилось для инструкции: усталое, местное, с короткой насмешкой на самом доньшке. Я зацепилась за это сильнее, чем хотела.

— А меня куда ведут?

— К человеку, который ещё отвечает.

— Ещё?

Лисицкая нажала кнопку лифта локтем.

— Здесь это важное слово.

Лифт оказался старым, с тяжёлой металлической дверью и сетчатой внутренней створкой. Мы поднялись на третий этаж. По пути Лисицкая не расспрашивала о дороге, Москве, письме и моей специализации; её интересовал допуск. Она забрала телефон, заперла в металлический ящик с номером, сунула мне временную карточку и тонкий халат без пуговиц. Халат я надела поверх пальто. Получилось нелепо, но официально; в учреждениях это обычное сочетание.

На стене возле лифта висел плакат: «Речевая нагрузка без допуска запрещена». Под ним мелким шрифтом шли пункты о порядке посещения, ограничениях на аудиозапись, перечне ответственных лиц и телефонах внутренних служб. Я прочла всё автоматически, как читают инструкцию на двери камеры хранения, когда уже ясно, что ключа от неё тебе всё равно не дадут. Словосочетание «речевая нагрузка» осталось во мне занозой. В нормальной больнице пациентам ограничивают свет, движение, посетителей, сахар, соль. Здесь ограничивали речь.

— Пациент в сознании? — спросила я.

— В пределах.

— Чьих?

Она посмотрела на меня через сетку лифта.

— Вот это вы и выясните.

На сестринском посту две женщины заполняли журналы. Одна увидела Лисицкую, молча подвинула лист допуска и ручку. Мне показали строку для подписи. Действие опережало просьбу; я снова расписалась, уже машинально. В судах люди любят говорить, что бумага ничего не решает. Обычно так говорят те, у кого её достаточно.

Последняя дверь в коридоре открывалась по карточке. Фамилии на ней не было, только номер палаты и красная полоска магнитной защёлки. Лисицкая приложила карту, придержала дверь плечом, пропустила меня внутрь.

На кровати лежал мужчина лет пятидесяти с лишним, худой, седой, коротко подстриженный. Руки были поверх одеяла; к запястью крепился датчик, на груди — электроды, к пальцу — клипса пульсоксиметра. Монитор показывал зелёную линию, пульс, насыщение крови кис-

лородом, давление. Цифры выглядели прилично. По медицинским показателям он оставался жив.

У кровати стоял мужчина в рубашке без галстука и пиджаке, который держался на нём с той усталой уверенностью, с какой следователи носят всё лишнее на допросах, выездах и в коридорах. Удостоверение висело на ремешке.

— Рябинин, следственный отдел района, — представился он. — Официально консультирую медицинскую часть.

— А по существу?

Он коротко усмехнулся.

— Ищу формулировку, которую институт не вернёт обратно в виде тумана.

Лисицкая поправила одеяло. Мужчина на кровати открыл глаза. Светлые глаза, внятный взгляд, хорошая фиксация. Он увидел Лисицкую, затем Рябинина, затем меня. Я много лет слушала людей, которые хотят обойти вопрос: обвиняемых, свидетелей, потерпевших, чиновников, детей в закрытых делах. У всех есть свои уклонения — пауза перед глаголом, лишний предмет в рассказе, внезапная подробность там, где нужно простое «да». У этого человека было другое. Он как будто знал фразу целиком, но всякий раз пропускал место, куда обычный говорящий ставит себя.

— Павел Андреевич, — Лисицкая наклонилась к нему, — приехала специалистка по речевым материалам. Яна Андреевна Резник.

На фамилии его пальцы напряглись. Руки сами собой сжались, натягивая ткань одеяла. Он пытался удержать мою фамилию внутри своей системы, и эта попытка стоила ему больше, чем весь предыдущий осмотр.

— Вы меня слышите? — спросила я.

Губы дрогнули. Голос вышел тихий, сухой, с болью в горле, но артикуляция оставалась ясной.

— Слышимость сохраняется.

Рябинин отвёл глаза к полу. Лисицкая проверила монитор. Я поставила папку на стул и достала блокнот. Телефон был в ящике у поста; оставались карандаш, бумага и старый неприятный навык ручной записи. Дата, место, имя пациента, первые слова. Я не пользовалась стенографическими значками. Мне хватало опорных слов, пауз, замен, оговорок, странных конструкций, которые в протоколах обычно обрезают ради чистоты, а зря.

В моей работе мусорная речь часто оказывалась самой точной: лишняя частица, брошенное «ну», оборванный предлог, повтор имени вместо местоимения. Судьи просили привести запись к удобному виду; адвокаты требовали убрать «э-э» и «там»; эксперты писали, что смысл высказывания от этого не меняется. Смысл меняется всегда. Просто изменение не всякий раз помещается в графу.

— Назовите себя, пожалуйста.

Мужчина закрыл глаза на короткий миг, открыл.

— Имя Павел Андреевич Тронин сохраняется.

Я записала дословно.

— Вы Павел Андреевич Тронин?

Пауза стала длиннее. Монитор держал прежние цифры.

— Соответствие имени телу подтверждается.

Карандаш оставил на бумаге слишком сильную черту. Я ослабила нажим.

— Вам холодно?

— Телу холодно.

— Вам больно?

— Боль присутствует в горле и в левой кисти.

— Вы помните, что произошло?

Пальцы снова напряглись.

— Происшествие удерживается.

— Кем?

Он вдохнул через нос; дыхание прошло с тонким хрипом.

— Действующее лицо отсутствует.

Рябинин тихо выругался себе под подбородок. Лисицкая сдвинула брови, но в работу не вмешалась.

— Павел Андреевич, кто закрыл камеру?

— Камера оказалась замкнута.

— Кто включил запись?

— Запись была произведена.

— Кто был рядом?

— Присутствие фиксировалось.

— Чьё присутствие?

Его взгляд перешёл на меня. В нём была ясность, от которой хотелось опустить глаза: речь прошла через слишком тщательную правку, всё лишнее убрали, вместе с лишним сняли того, кто имел право поставить подпись.

— Источник не допускается.

Я записала: источник не допускается. Подчеркнула. Поставила вопросительный знак, хотя вопросительный знак в таких случаях ничего не прибавляет; просто мне нужно было занять пальцы, когда внутри всё сбивается.

— Можете произнести: «я видел»?

Лисицкая сразу подняла глаза.

— Аккуратнее.

— Мне нужно проверить форму.

— Формы у него как раз и горят.

Она произнесла это с раздражением, без кафедральной аккуратности, и Тронин на звук её голоса чуть заметно повернул глаза. Кажется, он узнавал в ней человека, который хотя бы иногда обращался к нему напрямую.

Я наклонилась ниже.

— Павел Андреевич, повторите за мной: «я».

На мониторе зелёная линия пошла чаще. Тронин зажмурился, сухожилия на шее обозначились резче. Лисицкая шагнула к капельнице. Он поднял ладонь на несколько сантиметров, останавливая её. Жест был маленький, но его собственный. Я отметила это сразу: просьба; рефлекс и судорога выглядели бы иначе.

Он попытался произнести звук.

Первый выдох застрял между горлом и зубами. Второй вышел глухим, коротким, без гласной, как щелчок. Он собрал дыхание ещё раз, и из него вышло:

— Тело...

Лисицкая уже стояла у кровати.

— Всё. Хватит.

— Ещё один вопрос.

— Яна Андреевна, вы его сейчас добьёте своей проверкой.

В её голосе не было угрозы; была рабочая злость человека, который каждый день вытаскивает чужие последствия из красивых решений начальства. Я слышала её, но отойти не смогла. Передо мной лежал живой мужчина. Он понимал обращённую речь, удерживал факт события, помнил присутствие, фиксировал боль, но в каждой фразе обходил место, где должен был стоять он сам.

— Последний, — обратилась я к Лисицкой, затем снова к Тронину. — Вы знаете мою фамилию?

Он смотрел долго. За дверью продолжалась больничная работа: тележка, ключ от процедурной, раздражённый ответ медсестры. На кровати человек лишился своего места среди этих обычных движений.

— Резник, — выговорил он.

— Что Резник?

Его рот дрогнул. Он с трудом поднял пальцы над одеялом, как будто хотел показать нечто невидимое между нами.

— Резник сохранил...

Слово оборвалось. Монитор резко подал сигнал. Лисицкая закрыла мне обзор плечом, проверила датчик, нажала кнопку на панели, быстро велела Рябинину отойти к двери. Тронин втянул воздух, губы побелели. В палату заглянула медсестра; Лисицкая кинула ей короткую фразу про препарат и дозировку. Я отошла к стене, сжимая блокнот; край картонки впился в ладонь.

Через минуту цифры на мониторе вернулись к прежним значениям. Тронин лежал с закрытыми глазами. Лисицкая сняла перчатки, бросила их в контейнер и повернулась ко мне.

— Коридор.

Я подчинилась.

Свет в коридоре показался грубым. Я сняла халат, сложила его на стуле у поста. Пальцы не сразу разжались, ткань пришлось буквально вынуть из руки. Рябинин стоял рядом с автоматом для кофе; стаканчик в его ладони был пустым.

— Вы такое видели? — спросил он.

— Я видела афазии. Замены. Распад синтаксиса. Людей после травмы, которые называют себя по имени, путают «он» и «я», забывают глаголы, цепляются за местоимения как за поручень.

— И?

Я посмотрела на дверь палаты. За ней Лисицкая негромко разговаривала с медсестрой, понижая голос на каждой фразе, как будто громкость могла повредить человеку сильнее лекарства.

— Здесь он не путает. Он обходит.

Рябинин провёл ладонью по подбородку. Щетина шуршнула под пальцами.

— Мне нужно написать, что с ним произошло.

— Напишите, что требуется речевая экспертиза.

— Я уже писал. Институт вернул: «наблюдается самопроизвольное снижение субъектной маркировки вследствие превышения нормы». Красиво, правда? Только в суд с этим нельзя. В морг тоже.

Дверь палаты была закрыта, но голос Тронина донёсся в щель у косяка. Тихий, изношенный, уже без усилия к нам обратиться. Он повторял одну фразу, словно организм нашёл единственный доступный путь для жалобы.

— Телу холодно.

Рябинин замер. Лисицкая внутри что-то уронила в металлический лоток.

— Телу холодно.

Я открыла блокнот на чистой странице. Рука дрожала от усталости, злости, дороги, от того, что во мне наконец сдвинулось профессиональное упрямство и стало чем-то хуже. Я написала первую строку для себя, на полях, без номера дела:

Павел Тронин не говорит от первого лица.

Посмотрела на неё и сразу зачеркнула. Слишком чисто. Слишком похоже на заключение, которое можно вложить в папку и забыть до следующей комиссии.

Ниже я написала иначе:

У Павла Тронина украли возможность сказать «я».

Глава вторая. Несчастный случай

Кофейный автомат у сестринского поста выдавал кипяток, коричневую пыль и стаканчик, мягкий от тепла уже на второй секунде. На кнопке было написано «капучино», на деле выходила сладкая мутная жидкость, которой в районных судах запивают ночные протоколы, когда буфет закрыт, а в коридоре сидит потерпевшая с пакетом документов и держит себя за рукав, чтобы никого не ударить.

Я выпила половину. Язык обожгло; польза всё-таки нашлась. Тело получило простое объяснение дрожи: горячее, усталость, дорога. Остальное можно было отложить до комнаты, где люди с должностями станут называть случившееся словами, заранее подобранными для чужих подписей.

Рябинин стоял рядом с окном, открывал и закрывал крышку стаканчика. Пил он мало, работал руками много. На стекле отражался коридор: пост, две медсестры, металлический ящик с телефонами, дверь палаты, за которой Павел Тронин повторял «телу холодно» до укола. Я смотрела в отражение и ловила себя на желании вернуться туда с глупым человеческим вопросом: под каким одеялом ему теплее, можно ли поднять изголовье, кто последний раз называл его Павлом без отчества. В моей работе такие вопросы считались мусором. Впрочем, многое полезное начиналось с мусора.

— Вас сейчас поднимут к директору, — Рябинин шевельнул крышкой. — Я пойду с вами. Мне тоже интересно, какую версию они приготовили на ночь.

— У вас есть своя?

— У меня есть дело без события. Живой потерпевший, отсутствие заявления, отсутствие состава, отсутствие причинителя. Прекрасный набор для районного следствия. Можно повесить на стену.

— Вы его видели до моего приезда?

— Дважды. Первый раз он отвечал меньше. Второй раз начал повторять про действующее лицо. Я попросил аудио. Мне выдали выписку.

Он вынул из внутреннего кармана сложенный лист и протянул мне. Выписка была на бланке института, с печатью медико-речевой части и подписью врача; фамилию закрывала круглая синяя отметка. Три абзаца. Всё гладко, чисто, пригодно для приобщения.

«Пациент П. А. Тронин доставлен в медико-речевую часть в 01:38. Состояние расценено как острое снижение субъектной маркировки на фоне превышения индивидуальной нормы разбора. Внешнее воздействие на момент осмотра документально не подтверждено».

Я прочла последнюю фразу дважды.

— Документально, — проговорила я.

— Удобное слово?

— Очень. Без документа воздействие исчезает.

Рябинин забрал лист, сложил по старым сгибам.

— А если документ сделали так, чтобы в нём воздействия не было?

Я посмотрела на дверь палаты. Лисицкая вышла оттуда с лотком, кивнула нам без остановки и скрылась в процедурной. На ходу она бросила Рябинину:

— Опять бумажки глотаете?

— Читаем.

— Да у вас от чтения тут половина корпуса лежит.

Дверь процедурной закрылась. Рябинин впервые за вечер улыбнулся шире.

— Марта Викторовна любит науку.

— Слышно.

— Она тут выросла. Ей можно.

Я успела спросить, что значит «можно», но в коридор вошёл молодой сотрудник в тёмном свитере и с планшетом под мышкой. Шагал быстро, каблуки стучали по линолеуму сухо, без суеты. У двери поста он сверил нас с экраном.

— Яна Андреевна Резник? Антон Сергеевич Рябинин? Директор ожидает.

— Уже директор? — Рябинин выбросил стаканчик в урну. — Честь какая.

Сотрудник отреагировал веками: коротко моргнул, развернулся и пошёл к лифту. Мы последовали за ним. Я взяла папку крепче. Внутри лежала моя запись с зачёркнутой строкой, и картон давил в ладонь через пальто.

Лифт поднял нас на пятый этаж. Здесь медико-речевая часть кончалась. Коридор был шире, стены окрашены в серый, на дверях появились таблички с полными названиями: «Комиссия эвиденциальности», «Отдел залога и агентности», «Сектор протокольного сопровождения», «Малый зал заседаний». У каждой двери стоял номер допуска. Внизу на плинтусах не было царапин от каталок; здесь перевозили папки.

Малый зал оказался длинной комнатой с большим столом, экраном на стене и шкафом, где за стеклом лежали переплетённые тома внутренних инструкций. За столом сидели трое.

Варвару Стасову я узнала сразу, хотя до этого видела только фамилию под письмом. Есть люди, чья должность заметна раньше имени: посадка, тишина вокруг, привычка принимать паузу как услугу. Стасовой было за шестьдесят; белые волосы собраны в низкий узел, тёмный костюм без украшений, тонкая папка перед ней. На правой руке — массивное кольцо без камня. Она посмотрела на меня, на Рябинина, на папку в моих руках, задержалась на моём блокноте.

— Яна Андреевна. Благодарю за оперативность.

Голос у неё был низкий, спокойный, без попытки понравиться. Люди такого типа редко тратятся на вежливость сверх необходимой дозировки.

Справа от неё сидел пожилой мужчина с длинными пальцами, вытянутыми манжетами и усталым вниманием архивиста, который привык помнить чужие пропуски лучше чужих заслуг. Его представили Львом Матвеевичем Гуровым, руководителем Архива лакун. Он слегка наклонил голову и снова положил ладонь на закрытую папку перед собой.

Слева расположился высокий сухой человек в очках с тонкой оправой. Волосы зачёсаны назад, галстук затянут туго, чем требовал ночной час. Его звали Роман Войцех, начальник отдела залога и агентности. Он держал ручку между указательным и средним пальцем, словно собирался править мою речь ещё до начала разговора.

— Присаживайтесь, — произнесла Стасова. — Антон Сергеевич, ваше присутствие зафиксируем как наблюдательное.

— Я люблю, когда меня фиксируют, — отозвался Рябинин, опускаясь на стул. — Сразу чувствую, что живу содержательно.

Войцех поднял на него глаза.

— Наблюдательная позиция не предполагает участия в экспертном обсуждении.

— Зато предполагает слух.

Стасова слегка повернула ладонь на столе, и перепалка остановилась. Без стука, без повышения голоса. Просто все в комнате вспомнили, где сидит центр тяжести.

Мне положили перед собой тонкий комплект документов. На первой странице — «Предварительное заключение о речевом состоянии П. А. Тронина». Ниже: дата, время, гриф внутреннего пользования, список ответственных. Я пролистала быстро, как просматривают знакомое дело перед заседанием: заголовки, подписи, приложения, пустые графы, расхождения во времени. Документ был составлен тщательно. От такой тщательности хотелось открыть окно и вытряхнуть с пятого этажа все аккуратные формулировки.

— Вы уже беседовали с Павлом Андреевичем, — Стасова скрестила пальцы. — Нам нужно первичное впечатление.

— Он ориентирован. Понимает обращённую речь. Память сохранена частично или полностью, без материалов утверждать рано. Артикуляция рабочая, хотя голос повреждён. Основной сбой — местоименная позиция и агентность. Он системно обходит первое лицо и активный субъект.

Войцех сделал пометку.

— «Обходит» — разговорный глагол.

— Я даю первичное впечатление.

— Первичное впечатление тоже может быть точным.

— Может. Моё пока живое.

Рябинин кашлянул в кулак. Гуров поднял глаза с папки и впервые посмотрел на меня внимательно, без служебной рассеянности. Стасова не изменила позы.

— Живые формулировки ценны до момента внесения в протокол, — произнесла она.
— Продолжайте.

Я открыла документ на третьей странице.

— В вашем заключении написано: «камера оказалась замкнута». Почему не «камера была закрыта снаружи»?

Войцех чуть наклонил голову.

— Поскольку факт закрытия снаружи требует установленного действующего лица.

— Механизм замка известен?

— Да.

— Камера могла замкнуться сама?

— Технически маловероятно.

— Значит, кто-то её закрыл.

— Это предположение.

— Это рабочая версия.

— Внешне близкие формулировки имеют разные последствия.

— Я заметила.

Стасова перевела взгляд на Войцеха. Он умолк, но ручка между пальцами стала вращаться быстрее.

Я продолжила читать вслух, выделяя строки карандашом.

— «Запись была произведена». Кем?

— Аппаратура находилась в штатном режиме, — ответил Войцех.

— Кто включил штатный режим?

— Дежурный протокол активизируется по расписанию.

— Кто внёс расписание?

— Сектор протокольного сопровождения.

— Кто конкретно?

Войцех снял очки, протёр стекло салфеткой из внутреннего кармана. Движение было медленным, как просьба к комнате оценить мою настойчивость.

— Яна Андреевна, в предварительном заключении фиксируется состояние пациента, а не ход служебного расследования.

— Тогда зачем вы пишете о внешнем воздействии?

— Его документальное подтверждение отсутствует.

— Вы не указали ни одного действующего лица.

— Мы не имеем права указывать лицо без подтверждения.

— Вы составили текст, в котором подтверждение некуда поставить.

Пауза вышла длиннее допустимого для простой служебной встречи. За окном, в тёмном стекле, отражались наши силуэты за столом: Стасова в центре, Войцех с очками в руке, Гуров

над папкой, Рябинин чуть в стороне, я напротив них с карандашом. Отражение дрожало от люминесцентной панели.

— Павел Андреевич превысил индивидуальную норму разбора, — Стасова взяла разговор обратно. — Это установлено его рабочими материалами. Он имел доступ к закрытой категории лица и дейксиса. Нарушение процедуры могло вызвать острый срыв субъектной маркировки.

— Могло?

— В настоящую минуту это наиболее экономное объяснение.

— Экономное — да.

Гуров тихо повернул кольцо папки. Щёлкнул замок.

— Павел Андреевич работал с опасными материалами, — вступил он. — Работал давно, часто небрежно, с той самоуверенностью, которую дают возраст и заслуги. Я говорю это без осуждения. Старые сотрудники хуже студентов соблюдают запреты.

— Он сам вызвал меня? — спросила я.

Гуров посмотрел на Стасову. Та не возразила.

— Его запрос зафиксирован за два дня до инцидента, — ответил Гуров. — Он просил внешнего специалиста по судебной транскрипции. Указал вашу фамилию.

— Почему мою?

— В запросе отсутствует мотивировка.

— Он меня знал?

— Судя по запросу, знал о вашей работе.

— О какой именно?

Гуров положил ладонь на папку, где, видимо, лежал этот самый запрос.

— Вы участвовали в ряде дел, связанных с речевыми записями при спорном источнике высказывания. Павел Андреевич мог читать ваши заключения.

Я занималась такими делами. Много. Слишком много для одного ответа. Записи из подъездов, машин, переговорных, кухонь, допросных комнат; голоса, перекрытые шумом; люди, которые через три месяца вдруг «не узнавали» собственные слова; эксперты, готовые услышать в паузе что угодно, если им правильно поставить вопрос. Моя фамилия могла попасть в институтские руки законно. В этом и была неприятность: самые опасные связи обычно выглядят законными.

— Покажите запрос.

Стасова кивнула Гурову. Он вынул один лист и передал мне через стол.

Запрос был короткий, на внутреннем бланке отдела лица и дейксиса. «Прошу привлечь к консультации Я. А. Резник, специалиста по судебной транскрипции и спорной атрибуции источника». Подпись Тронина. Дата. Время регистрации. В графе «основание» стоял прочерк.

Я провела пальцем по подписи, не касаясь чернил. Подпись была уверенная, широкая, с длинной петлёй в фамилии. Человек, который подписал этот запрос, ещё мог писать от себя.

— У вас есть его материалы за последние дни?

— Частично изъяты для внутренней проверки, — отозвался Войцех.

— Кем?

Он посмотрел на меня поверх очков.

— Комиссией.

— Состав комиссии?

— Будет предоставлен после оформления допуска.

— У меня уже есть временный допуск.

— К пациенту.

Рябинин наклонился вперёд.

— Меня интересует то же самое. Если Тронин стал потерпевшим, материалы имеют значение для дела.

Войцех развернул к нему корпус.

— На данный момент отсутствует процессуальный статус потерпевшего.

— Он лежит в палате и не может произнести «я».

— Медицинское состояние и процессуальный статус находятся в разных плоскостях.

— Удобно у вас тут плоскости разъезжаются.

Стасова положила ладонь на край папки.

— Антон Сергеевич, институт не препятствует районному следствию. Однако Павел Андреевич работает с закрытыми материалами. Любое внешнее изъятие потребует согласования.

— А внутреннее изъятие уже проведено?

— В пределах регламента.

— Кто подписал?

— Я.

В комнате стало тише. Стасова произнесла это без нажима, и оттого ответ прозвучал тяжелее. Впервые за встречу появился субъект. Ушли привычные «было подписано» и «регламентом предусмотрено». Она позволила себе это слово там, где могла его выдержать.

Я отметила в блокноте: Стасова говорит «я», когда действие безопасно.

Гуров увидел пометку. Его глаза задержались на ней слишком долго.

— Вы записываете не только пациента, — заметил он.

— Я записываю речь.

— Речь в таком месте быстро начинает записывать вас.

Фраза была слишком красива для ночного заседания, и, кажется, он сам это понял: отвёл взгляд к папке, потёр большим пальцем край бумаги.

Стасова раскрыла свой комплект документов.

— Яна Андреевна, ваша задача на данном этапе — оценить речевое состояние Павла Андреевича и определить, возможно ли получение от него пригодного свидетельства. Причины срыва обсуждаются отдельно.

— Свидетельства о чём?

— О происшествии.

— В вашем заключении происшествие самопроизвольное.

— Предварительное заключение описывает наиболее вероятную версию.

— Тогда зачем вам свидетельство?

После вопроса за столом стало тихо. Войцех снова взял ручку. Гуров прикрыл папку. Рябинин перестал шевелить крышкой стаканчика. Стасова смотрела на меня спокойно, и в её спокойствии было много практики.

— Потому что Павел Андреевич остаётся сотрудником института. Его состояние требует восстановления последовательности событий, включая возможные нарушения процедуры. Мы не исключаем дисциплинарный аспект.

— Дисциплинарный?

— В случае превышения нормы разбора сотрудником с допуском высокого уровня.

— Вы хотите выяснить, виноват ли он сам.

— Мы хотим установить последовательность.

— Последовательность без действующего лица удобна.

Войцех резко поставил ручку на стол.

— Вы злоупотребляете разговорной формой обвинения.

— Я пока не обвиняю. Я пытаюсь понять, кто в вашем тексте способен что-нибудь сделать.

Рябинин усмехнулся, но тут же прикрыл рот ладонью. Стасова на него даже не посмотрела.

— В тексте предварительного заключения действует состояние, — произнесла она. — Такова медицинская рамка. Для установления лица, совершившего действие, нужен иной документ.

— Кто его составит?

— При наличии оснований — соответствующий отдел.

— Отдел залога?

Войцех поднял подбородок.

— В том числе.

Я представила документ, где исчезновение человека из собственной речи будет оформлено специалистами по исчезновению действующего лица из предложения. Представила слишком ясно, и в груди стало тесно.

— Мне нужен доступ к аудио из камеры, журналу входов, расписанию записи, материалам Тронина за трое суток до инцидента и его запросу в полном виде.

— Полный вид вы получили, — Гуров коснулся листа у меня перед собой.

— Без приложений.

— Приложения отсутствуют.

— Или изъяты.

— Отсутствие и изъятие — разные позиции.

— Для кого?

Он молчал. В его молчании, в отличие от Тронина, человек был. Усталый, виноватый, хорошо обученный держать дверь закрытой, пока за ней кто-то зовёт.

Стасова закрыла папку.

— Доступ к аудио будет оформлен утром. Журнал входов — после согласования с режимным отделом. Рабочие материалы Павла Андреевича останутся во внутреннем хранении до решения комиссии. Вы получите фрагменты, касающиеся речевого состояния.

— Фрагменты мне не подходят.

— Тогда вам придётся подать расширенный запрос.

— Кому?

— Мне.

Я впервые за встречу позволила себе улыбнуться. Вышло скверно, судя по тому, как Рябинин отвёл взгляд.

— Значит, подам.

— Разумеется. Гуров поможет с формой.

Гуров тихо вздохнул. Было понятно: форма существует, к ней есть инструкция, инструкция содержит перечень оснований, а каждое основание имеет приложение, где нужна подпись того, кто запрос и ограничивает. Россия умеет строить лабиринты из трёх листов.

Я снова опустила глаза к предварительному заключению. В верхней части страницы стояли строки, которые я уже читала, но теперь они сложились иначе:

«Пациент обнаружен в акустической камере № 4».

«Камера оказалась замкнута».

«Запись была произведена».

«Состояние развилось остро».

«Внешнее воздействие документально не подтверждено».

В каждом предложении что-то происходило, но никто ничего не совершал. Даже Павел Тронин был в тексте меньше человеком, чем местом проявления состояния. По документу выходило, что существуют камеры, записи, состояния, протоколы, а люди появляются в строке «подпись».

Я взяла карандаш и на полях своего блокнота выписала глаголы:

обнаружен

оказалась

была произведена

развилось

не подтверждено

Пять строк. Пять аккуратных обходов.

— Что вы пишете? — Войцех подался вперёд.

— Список тех, кто в вашем документе работает вместо людей.

— Это публицистика.

— Это синтаксис.

Он сжал губы. Стасова впервые задержала на мне взгляд с чем-то похожим на интерес.

— Вы понимаете, почему Павел Андреевич выбрал вас, — промолвила она.

— Пока понимаю только, что он хотел кого-то снаружи.

— Снаружи не всегда значит свободнее.

— Внутри тоже не всегда значит точнее.

На этот раз Рябинин засмеялся вслух. Коротко, сухо. Стасова дала ему закончить.

— Мы разместим вас в ведомственной гостинице, — продолжила она. — Утром Гуров проведёт вас в Архив лакун. До этого момента палата — только с Лисицкой. Пациента не нагружайте местоименными формами. Его состояние нестабильно.

— Он сам пытался.

— Именно поэтому состояние нестабильно.

— Его попытка произнести «я» для вас симптом?

— Для меня это риск.

— Для него?

Стасова убрала руки с папки.

— Для него тоже.

Ответ был правильный. Слишком правильный, чтобы быть достаточным.

Совещание закончилось без объявления. Гуров собрал листы в папку, Войцех поставил колпачок на ручку, Стасова повернулась к сотруднику у двери и попросила оформить транспорт до гостиницы. Голоса остались спокойными; дверь открыли так же служебно, как закрывали.

У выхода Гуров задержал меня.

— Яна Андреевна.

Рябинин прошёл дальше по коридору, но замедлил шаг.

— Архив утром, — напомнила я.

— Да. И ещё. В документах Павла Андреевича встречаются старые рабочие пометы. Некоторые могут показаться вам ошибками.

— Я работаю с ошибками.

— Ошибка ошибке рознь.

Он хотел добавить что-то ещё, но из зала вышел Войцех, и Гуров сразу отступил на полтона в сторону служебной вежливости.

— До утра.

Я осталась в коридоре с папкой и своим блокнотом. За дверью малого зала глухо передвигали стулья. В конце коридора сотрудник в свитере ожидал нас у лифта. Рябинин смотрел на меня так, будто хотел задать вопрос и уже знал, что ответ будет плохим.

— Ну? — выдохнул он.

Я открыла блокнот на странице с пятью глаголами и показала ему.

— Вот их версия.

Он прочёл, поморщился.

— А ваша?

Я перевернула страницу. Там, под зачёркнутой первой формулировкой из коридора медико-речевой части, стояла вторая:

У Павла Тронина украли возможность сказать «я».

Я добавила ниже ещё одну строку:

Тот, кто это сделал, пока отсутствует только в их предложениях.

Глава третья. Архив лакун

Ведомственная гостиница оказалась третьим этажом жилого дома, где на площадке между лифтом и дверью в общую кухню стоял шкаф для уборочного инвентаря, а рядом висел лист с графиком дежурств, заполненный разными почерками и одной красной пометкой: «НЕ ЛИТЬ ВОДУ В РАКОВИНУ ПОСЛЕ 23:00». Комнату мне выдали вместе с ключом на фанерной бирке, комплектом белья в прозрачном пакете и просьбой расписаться в журнале проживания за текущие сутки, хотя текущих суток у меня к тому часу оставалось меньше четырёх.

Кровать была узкая, с металлической спинкой и одеялом, заправленным так туго, будто им собирались фиксировать нарушителей режима. На столе лежали инструкция по эвакуации, пустой стакан, карандаш без ластика и лист с внутренними номерами: пост, охрана, медико-речевая часть, дежурный транспорт, столовая. Телевизор включался, но показывал синий экран. Я сняла ботинки, села на край кровати, открыла блокнот и увидела последнюю строку, написанную у палаты Трониной: «У Павла Трониной украли возможность произнести “я”».

Строка выглядела дерзко. Через десять минут она стала выглядеть театрально. Через двадцать — единственной честной из всех, что я успела записать.

Я пыталась спать. Лежала без сна и снова перечисляла глаголы из заключения. Обнаружен. Оказалась. Была произведена. Развилось. Подтверждено. В три часа сорок шесть минут я встала, умылась ледяной водой из крана, хотя табличка над раковиной советовала беречь коммуникации, и попыталась составить расширенный запрос в Архив лакун. Первый вариант начинался словами «в связи с возможным преступлением против личности». Я зачеркнула его, вспомнив Войцеха, который с удовольствием разложил бы «возможное» и «преступление» по разным плоскостям. Второй вариант был скучнее: «в связи с необходимостью оценки речевого состояния П. А. Трониной». Его бы приняли. От этого он мне сразу разонравился.

К половине восьмого я спустилась на улицу с папкой, блокнотом и ощущением во рту, какое бывает после трёх часов сна и растворимого чая из пакетика, который лежал в стакане ещё с чьей-то смены. Дежурный водитель довёз меня до главного корпуса. Этот оказался разговорчивее ночного: уточнил, из Москвы ли я, спросил, правда ли в судах теперь всё пишут на компьютерах, и пожаловался, что его племянника не взяли в техникум при институте, хотя парень с детства разбирает магнитофоны. Я слушала и отвечала коротко. Хотела человеческого шума — получила, и теперь жалела. Нервная система вообще неблагодарная тварь.

Главный корпус днём оказался менее строгим, чем ночью. В холле висела доска объявлений, у вахты стояла очередь из сотрудников с пропусками, кто-то ругался из-за пропавшего ключа от аудитории, две аспирантки у автомата спорили о семинаре так, будто от него зависела погода на месяц вперёд. Здесь были шарфы, папки, бахилы, переноски с ноутбуками, бумажные стаканчики, тугие хвосты, старые портфели, пакеты из столовой. Обычная академическая жизнь держалась на мелочах; в Лог-17 их тоже выдавали по списку, но выдавали щедро.

Гуров ждал у вахты. На нём был коричневый пиджак, тонкий шарф и вязаный жилет, который в другом месте смотрелся бы домашним, а здесь выглядел частью допуска. Он держал в руках две папки: одну толстую, серую, с завязками, другую тонкую, новую, с моим именем на наклейке.

— Спали? — спросил он.

— Была горизонтальна.

Он моргнул, принял ответ без улыбки и передал тонкую папку.

— Ваш временный доступ. До полудня. Архивные материалы — в пределах указанных индексов. Аудио пока не оформлено.

— Стасова обещала утром.

— Утро у нас длинное.

В этом можно было услышать шутку; Гуров произнёс фразу так, что она осталась расписанием.

Мы прошли через турникет, поднялись на второй этаж, миновали переход в старый корпус. Переход был застеклённый; за стёклами виднелся двор с занесёнными лавками и низким зданием котельной. На трубах стояли номера, нанесённые белой краской; снег на крышах лежал плотными пластами. Гуров шёл медленно, но без старческой осторожности, словно экономил силы для длинного дня.

— Архив в отдельном корпусе? — уточнила я.

— Был отдельным. Теперь считается внутренним хранилищем.

— Разница есть?

— Для финансирования — большая. Для работы — лишняя бумага.

Вот это было уже на человеческом языке. Я отметила про себя, что Гуров умеет говорить проще, если речь касается зарплат, дверей и смет.

У дверей Архива стояла вторая вахта. Здесь проверяли не только пропуск: дежурная сверила моё имя с листом допуска, попросила открыть папку, перелистала блокнот, выдала карандаш с номером и тонкую хлопковую ленту для гостевой карточки. Ручки, маркеры, скрепки и ластики забрали в металлический лоток.

— Ластик зачем? — спросила я.

Дежурная посмотрела на Гурова.

— У нас стирать нельзя, — пояснил он. — Ошибка тоже действие.

— Тогда карандаш?

— Чтобы не оставлять давления на следующем листе. Перо режет бумагу.

Дежурная сунула мне лист правил. Семнадцать пунктов. Читать материалы только за столом. Переворачивать страницы за нижний угол. Не менять порядок вложений. Не переписывать шифр полностью без разрешения. Не произносить вслух фрагменты, помеченные красным квадратом. Последний пункт был выделен жирным: «При обнаружении пустой графы не предпринимать самостоятельных попыток восстановления».

Я хмыкнула.

— А если пустая графа очевидна?

— Особенно тогда, — отозвался Гуров.

Он не стал разворачивать мысль. Просто забрал у дежурной ключ и повёл меня к внутренней двери.

Архив лакун занимал три зала и несколько боковых комнат. Первый зал был каталожный: длинные металлические шкафы с ящиками, карточные тумбы, столы под зелёными лампами, часы в сетчатом кожухе, табличка «ТИШИНА» в рамке. Во втором зале стояли стеллажи с коробками; каждая коробка имела шифр, цветную диагональ и маленький кружок допуска. Третий я увидела через стекло: там были кабины для прослушивания и аппаратные стойки. Людей в архиве оказалось мало. Двое сотрудников работали за дальним столом с перчатками и линейками, ещё одна женщина на стремянке снимала коробку с верхней полки; каждый её шаг был медленным из-за узкой юбки и полного отсутствия желания умереть за ведомственную диссертацию.

Гуров усадил меня за стол внешних специалистов. На столе уже лежала форма расширенного запроса, та самая, которую я ночью пыталась составить сама. Графы были мелкие, неприятные: основание допуска, цель просмотра, предполагаемый тип материала, степень речевой нагрузки, ответственность за выбор варианта разметки.

— Заполните, — попросил Гуров.

— Вы же знаете, зачем я здесь.

— Знать и принять в работу — разные процедуры.

Я взяла карандаш. В графе «цель просмотра» написала: «установление обстоятельств речевого повреждения П. А. Тронина». Гуров подвинул к себе лист, прочитал и вернул.

— Не пойдёт.

— Почему?

— «Обстоятельства» запросят всё.

— Мне и нужно всё.

— Тогда вам нужен допуск комиссии, приказ директора и медицинское согласование. У вас есть только внешний речевой доступ.

Я стёрла бы слово, если бы ластик оставили. Вместо этого зачеркнула одной линией, как учили в судах: чтобы старый текст читался. Написала: «оценка речевого состояния П. А. Тронина».

Гуров кивнул.

— Теперь архив сможет вам что-то выдать.

— Значит, чтобы получить материал, надо заранее говорить уже обрезанным языком.

Он снял очки, протёр стекло тканью.

— Чтобы получить материал, надо не закрыть себе дверь первой же строкой.

Это был первый раунд, который я проиграла без красивой реплики. Я хотела ответить; в голову пришли две удачные фразы, обе годились для плохого спектакля. Я промолчала и дописала формулу.

Гуров отнёс её дежурной сотруднице, вернулся с серой папкой и маленькой коробкой карточек.

— Начнём с индекса Тронина. Без аудио. Без рабочих тетрадей. Только то, что может видеть внешний специалист.

— То есть то, что уже безопасно.

— То, что уже описано как безопасное.

— Это ведь не одно и то же.

— Да.

Он ответил устало, без спора. Иногда согласие раздражает сильнее возражения: оно оставляет тебя с собственным обвинением в руках, а ты ещё не знаешь, куда его деть.

В серой папке лежали карточки учёта: дата доступа, категория, рабочее место, уровень чтения, состояние после смены, подписи дежурных. Первые страницы выглядели как медицинская карта, написанная библиотекарем. Павел Андреевич Тронин работал с материалами лица и дейксиса, имел высокий допуск, дважды получал предупреждение за превышение времени чтения, один раз — за самовольную сверку вариантов разметки. В графе «последствия» значилось: «кратковременное снижение самореференции, восстановлено через 17 минут».

— Самореференции? — я подняла глаза.

— Способности удерживать отсылку к себе в высказывании.

— Проще: способности говорить «я».

— Проще — да.

— Почему не написали проще?

Гуров поставил рядом с папкой коробку карточек.

— Потому что простые слова труднее утверждать на комиссии.

Я ожидала очередной гладкой фразы, но он просто сел напротив и достал из коробки первую карточку. На ней были два столбца. Слева — фрагмент стенограммы; справа — варианты разметки.

— Посмотрите.

В левом столбце была фраза:

«...закрыв камеру...»

Вариант А: «Он закрыл камеру».

Вариант Б: «Камеру закрыло».

Вариант В: «Камера закрылась».

— Это из дела Тронина? — спросила я.

— Из учебного набора.

— Вы сейчас проверяете меня?

— Да.

Он сделал это без извинения. Мне даже понравилось бы, если бы я меньше устала.

— По обрывку нельзя выбрать, — проговорила я.

— Хорошо.

— Нужен контекст до и после.

— Контекст повреждён.

— Аудио?

— Шум.

— Источник?

— Спорный.

— Тогда карточку надо оставить как есть.

— Почему?

Я посмотрела на варианты. Карандаш уже стоял над вариантом А; я заметила это с опозданием. «Он закрыл камеру» хотелось выбрать из простой злости к их пассиву. Хотелось вернуть действующее лицо хотя бы там, где оно могло быть. Я убрала карандаш.

— Потому что выбор удобен мне.

Гуров чуть заметно кивнул, но похвалы в этом не было.

— Внешние специалисты чаще выбирают А. Сотрудники режима — В. Комиссия любит Б, если надо оставить возможность для техники.

— А правильный?

— По этой карточке его не утверждали.

— То есть три варианта так и лежат?

— Сколько лет.

Дальше пошли карточки из реальных индексов, уже без учебной маркировки. Гуров разбирал передо мной способ хранения: красный квадрат на фрагментах, которые нельзя читать вслух; синие диагонали на материалах со спорным источником; чёрные скобы вокруг строк, где выбор разметки вызвал ухудшение у носителя. Я старалась смотреть как специалист, но внутри всё время дергалась привычка исправлять: здесь восстановить имя, здесь указать глагол, здесь запросить первичную запись, здесь сопоставить с журналом входов. Архив будто специально был устроен для людей с привычкой всё трогать.

Я помнила запрет из правил и всё равно на пятой карточке не выдержала.

В графе «источник» стояли три точки и косая черта. Рядом — «Ф-4», номер акустической камеры. Внизу карточки: «связь с делом П. А. Тронина: предварительная». Я наклонилась ближе.

— Здесь можно восстановить по журналу.

Гуров протянул ладонь через стол и закрыл графу чистым листом.

— Нельзя.

— Я не внесла запись.

— Вы уже выбрали направление.

— В голове?

— С этого обычно начинается.

Я откинулась на спинку стула. Металл под пальцами был холодным, и это помогло сдержаться. Часть меня хотела назвать его суеверным хранителем пустот, часть — спросить, сколько людей пострадало от такой осторожности. Но передо мной лежали карточки с чёрными скобами, и в каждой такой скобе угадывалась история, которую здесь явно не собирались рассказывать за один допуск.

— Дайте мне карточку Тронина целиком, — попросила я.

— Не могу.

— Индекс?

— Частично.

— Гуров.

Он поднял глаза. Без обиды. Без особого интереса к моей интонации.

— Лев Матвеевич.

— Лев Матвеевич, человек в палате повторяет «телу холодно». Я не прошу у вас древнюю тайну. Мне нужна цепочка доступа и список связанных материалов.

— Список связанных материалов вы увидите. Цепочку доступа — через режимный отдел.

— Там мне дадут пассивные глаголы.

— Вероятно.

— Вас это устраивает?

Он долго складывал карточки обратно в коробку. Пальцы у него были аккуратные, ногти короткие, на большом — след от старого пореза. Архивист с руками мастера, а не хранителя. Я почему-то ожидала тонкости кабинетного человека, но в этих пальцах было больше работы, чем в его фразах.

— Меня много что не устраивает, — произнёс он. — Список от этого шире не станет.

Я опустила взгляд к столу. Край формы расширенного запроса лежал под серой папкой; на нём осталось моё зачёркнутое слово «обстоятельства».

Сотрудница принесла новую папку и положила её перед Гуровым. На обложке стоял шифр: «ПАТ/ЛД-4/предв.». Ниже — красный круг допуска. Гуров расписался в журнале, указал время, проверил вложения по описи. Каждый лист он переворачивал медленно, прижимая угол линейкой.

— Это вы можете смотреть, — уточнил он. — Без выписок шифра. Смысловые пометы допускаются.

В папке лежала сводная карта по делу Тронина. Первая страница: данные сотрудника, отдел лица и дейксиса, уровень допуска, дата инцидента. Вторая: место обнаружения, акустическая камера № 4, время доставки, первичный осмотр. Третья: речевые образцы.

Я увидела знакомые фразы:

«Слышимость сохраняется».

«Соответствие имени телу подтверждается».

«Телу холодно».

«Действующее лицо отсутствует».

Под каждой стояла аккуратная разметка: субъектная позиция — снижена; агентивная маркировка — отсутствует; источник — блокирован; статус высказывания — пригодно для наблюдения, непригодно для свидетельства.

— Непригодно, — повторила я.

— Для свидетельства.

— Для чьего удобства?

— Для суда, если говорить внешним языком. Для Протокола, если внутренним.

Это слово уже мелькало в документах, но Гуров произнёс его тише, чем остальные. Я отметила: Протокол. Пока без вопроса. Вопросы тоже надо дозировать, как выяснилось.

На четвёртой странице была таблица связанных индексов. Большинство строк закрыто серыми полосами. Видны оставались только первые буквы категорий и технические отметки:

Ф-4

Л/Д

ЗАЛ-В

ЭВ/ист

1-Я

Я остановилась.

— Что такое 1-Я?

Гуров не ответил сразу. Он взял линейку, подвинул край страницы, хотя перекося там не было. Дежурная за соседним столом подняла голову. На стремянке в глубине зала женщина перестала искать коробку, но вниз не посмотрела. Три человека в комнате сделали вид, что занимаются своим делом, и все трое слишком старательно.

— Связанный индекс, — произнёс Гуров.

— Я вижу.

— Для вас это всё.

— Он связан с Трониным?

— Таблица так указывает.

— Это материал лица?

— Не по вашему допуску.

— Донорный контур?

Слово я взяла не из их документов; я слышала его вчера в столовой? Нет, столовой ещё не было. Откуда взяла? Из чьей-то фразы у поста, из выписки, из Ильи, которого ещё не знала? Я не смогла поймать источник. Это было неприятнее, чем отсутствие ответа.

Гуров внимательно смотрел на меня.

— Кто вам дал этот термин?

— Вы сейчас ответили вопросом на вопрос.

— Да.

Рябинин бы здесь ухмыльнулся. Мне стало досадно, что его нет. С ним было проще злиться вслух.

— Я слышала его в корпусе, — выбрала я самый безопасный вариант.

— В каком контексте?

— В человеческом.

Гуров закрыл папку.

— Тогда забудьте до оформления допуска.

— Не умею.

— Научитесь, если задержитесь.

Он потянулся к журналу выдачи, чтобы расписаться в возврате. Я положила ладонь на обложку папки раньше, чем успела решить, стоит ли это делать. Дежурная сразу поднялась. Гуров не сделал резкого движения; просто посмотрел на мою руку на архивной папке, затем на меня.

— Уберите.

Я убрала. Щёки вспыхнули от злости и стыда. Глупо. Очень глупо. В суде я бы сама выгнала специалиста, который кладёт ладонь на вещественный материал после прямого ограничения. Здесь я вела себя как человек, которого раздражает закрытая дверь сильнее, чем интересуется замок.

— Простите, — выдавила я.

— Принято.

Он снова открыл папку, но теперь держал её под своим углом, ближе к себе.

— Яна Андреевна, вам кажется, что архив прячет ответы. Бывает. В вашем случае часть закрыта, спорить глупо. Но ещё архив мешает вам сделать ответ раньше материала.

— Вы очень благородно это формулируете.

— Я формулирую как могу.

После этой фразы он устал. Видно было по плечам, по тому, как он снял очки и не сразу надел. У Гурова не было блеска учителя, поймавшего ученицу на ошибке. Был человек, который много лет объясняет одно и то же людям, приходящим снаружи с хорошими намерениями и плохим допуском.

Он вложил сводную карту в конверт с красной диагональю. Передал дежурной. Та поставила штамп о возврате, проверила опись, взяла с меня подпись за просмотр индекса.

Ручка на цепочке не писала. Я провела по строке раз, второй. На бумаге осталась пустая борозда.

Дежурная протянула другую ручку.

— Эту сильнее нажимайте.

Я нажала. Подпись вышла грубой, с продавленной петлёй в фамилии.

Гуров посмотрел на неё, вернул журнал дежурной и взял со стола мою тонкую папку.

— У вас десять минут до окончания допуска. Могу показать хранилище карточек по связанным индексам. Без раскрытия.

— То есть ярлык.

— Шкаф.

Мы прошли во второй зал. Там было холоднее. Стеллажи стояли рядами, коробки имели цветные метки; вдоль стен располагались картотечные шкафы с узкими латунными держателями для ярлыков. Гуров остановился у шкафа с цифрой «1» и вынул ключ из связки. Ключ повернулся туго. Ящик выдвинулся на треть длины.

Внутри стояли разделители: 1-А, 1-Б, 1-В, дальше пропуск, затем 1-И. Между 1-В и 1-И была деревянная вставка, прикрученная двумя винтами. На ней — маленькая металлическая пластина:

1-Я

За пластиной не было карточек. Только вставка.

— Пусто, — произнесла я.

— Нет.

Гуров задвинул ящик до половины, остановился и снова выдвинул, словно проверял ход механизма. Ничего не скрипнуло. Ничего особенного не случилось.

— Где карточки?

— В действующем секторе.

— Где он?

— Не в этом зале.

— В этом корпусе?

Он закрыл ящик.

— На сегодня достаточно.

Я хотела возразить. Правда хотела. Уже открыла рот, уже приготовила что-то резкое, но в соседнем ряду сотрудница на стремянке попросила Гурова подать ей нижнюю коробку, потому что колено опять «дурит», и он пошёл помогать ей, прихватив связку ключей. Очень буднично. Без тайны и финальной фразы.

Я осталась у шкафа с цифрой «1» и смотрела на деревянную вставку с металлической пластиной, пока дежурная не напомнила, что гостевой карандаш все-таки надо вернуть.

Глава четвёртая. Чашка разбилась

У дверей аудитории висел лист с расписанием семинаров, приколотый четырьмя кнопками к пробковой доске. Бумага пошла волной от частых прикосновений; напротив сегодняшней даты кто-то карандашом приписал «перенос из 304 в 218», а ниже добавил стрелку и раздражённое «снова». Я нашла нужную строку не сразу: «Отдел залога и агентности. Открытый практикум. Р. С. Войцех. Тема: агентная позиция в повреждённом свидетельстве».

Открытый практикум. В институте, где даже ластик выдавали под ответственность, слово «открытый» звучало щедро до подозрительности.

Десять минут назад Гуров проводил меня из Архива, вернул на вахте мои ручки и скрепки, напомнил про временный допуск к материалам Тронина и, уже у лестницы, обронил, что Войцех читает сегодня для аспирантов. В его голосе это прозвучало как бытовая справка, но я успела уяснить: здесь бытовые справки нередко имели форму приглашения в ловушку.

— Мне можно присутствовать?

Гуров поправил шарф.

— Семинар открытый.

— Здесь это означает?

— Что вас внесут в журнал на входе.

Я пошла. Часть меня хотела вернуться к шкафу с пластиной 1-Я и стоять перед ним до конца допуска, как собака перед закрытой дверью. Другая часть, более воспитанная судами, понимала: иногда к делу ближе тот, кто учит других прятать действие.

Аудитория 218 находилась в старом крыле, где лестничные пролёты были шире современных, перила истёрты на поворотах, а стены покрывали стенды с пожелтевшими фотографиями конференций: ряды сотрудников в пиджаках, столы с графинами, надписи «структура высказывания», «категории ответственности», «памяти Л. М. Кравцова». У каждого учреждения есть своя форма бессмертия; чаще всего это чёрно-белый снимок у двери туалета и сборник тезисов, который никто больше не открывает.

На входе в аудиторию сидела аспирантка с журналом посещений. Она спросила фамилию, вписала меня в конец списка и выдала бумажную карточку «гость». В зале уже было человек тридцать: аспиранты, сотрудники, два пожилых преподавателя на заднем ряду, молодой парень с камерой на штативе у окна. Камера была направлена на доску. Увидев мой взгляд, аспирантка пояснила:

— Запись для внутреннего методического архива.

— Голоса студентов пишутся?

— Только преподавательская зона.

Она ответила слишком быстро. Я расписалась, взяла карточку и села у прохода в третьем ряду, откуда были видны доска, кафедра и боковая дверь.

Войцех уже стоял у стола. Ночной галстук сменился серым свитером под пиджаком, но выражение его манер осталось тем же: человек, которому легче поправить чужую фразу, чем спросить, как тот себя чувствует. На столе лежали мел, папка, тонкая указка и стеклянная чашка на блюде. Чашка была настоящая, с синей каймой, из тех, что остаются в кафедральных комнатах после юбилеев, защит и чьих-то увольнений.

Войцех дождался, пока аспирантка у двери закрыла журнал, и повернулся к доске.

— Сегодня работаем с минимальной сценой.

Он написал крупно:

СТУДЕНТ РАЗБИЛ ЧАШКУ.

Почерк оказался красивым, старомодным, с длинными верхними штрихами. В аудитории зашуршали тетради. Я не стала доставать блокнот сразу; хотелось хотя бы пять минут посмот-

реть без профессиональной готовности схватить каждое слово за горло. Не вышло. На третьей секунде карандаш уже лежал в пальцах.

— Перед нами утверждение с выраженной агентной позицией, — продолжил Войцех. — Действующее лицо названо, действие оформлено как совершённое, объект повреждения указан. Внешне фраза проста. Юридически груба. Речевая грубость иногда полезна. В раннем протоколе, к примеру. На стадии фиксации.

Он провёл черту под «студент».

— Кто действует?

На первом ряду подняла руку девушка в бордовом свитере.

— Студент.

— Каким образом мы это знаем?

— Он стоит в позиции подлежащего.

— Мало.

Девушка покраснела, но не сбилась.

— Глагол переходный, объект выражен винительным, действие приписано субъекту.

— Уже лучше.

Войцех стёр фразу ладонью в перчатке для доски и написал новую:

ЧАШКА РАЗБИЛАСЬ.

— Что изменилось?

Парень у окна с камерой поднял глаза от экрана.

— Действующее лицо исчезло.

— Исчезло или снято?

— Снято.

— Кем?

Парень замялся.

— Разметкой?

— Формой.

Войцех произнёс это слово так, что оно легло на стол рядом с чашкой. Я поймала у себя раздражение от его удовольствия. Он умел делать власть очень чистой, без лишней мимики, одним переносом ударения.

— Форма не обязана лгать, — продолжил он. — Фраза «чашка разбилась» может быть истинной. Возможно, чашка действительно упала без участия человека. Вопрос не в истинности. Вопрос в распределении ответственности.

Он взял чашку двумя пальцами за ручку, поднял и поставил ближе к краю стола. Несколько аспирантов подались вперёд. Войцех не смотрел на них. Он смотрел на фразу.

— Предположим, в аудитории присутствует пострадавший объект, повреждение зафиксировано, источник звука отсутствует, видеозапись обрывается до момента контакта. Какую формулировку следует выбрать в предварительном отчёте?

Девушка в бордовом свитере снова подняла руку.

— «Чашка обнаружена разбитой».

— Безопасно. Слишком бедно.

— «На столе обнаружены фрагменты чашки»?

— Лучше для осмотра. Хуже для события.

С заднего ряда отозвался пожилой преподаватель:

— «Имело место разрушение предмета посуды».

В зале засмеялись. Войцех позволил смеху пройти и написал:

В ОТНОШЕНИИ ЧАШКИ ИМЕЛО МЕСТО НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ.

Тут уже засмеялись громче. Смех был студенческий, нервный, с облегчением: вот она, уродливая канцелярская фраза, можно над ней безопасно посмеяться. Я тоже чуть не улыбнулась. В районных судах такие конструкции цветут без всякой мистики.

Войцех взял указку.

— Смешно?

Зал стих.

— Почему?

Студенты молчали. Камера у окна продолжала писать преподавательскую зону; красный огонёк горел у самой линзы.

— Потому что фраза выглядит трусливой, — произнёс Войцех. — Синтаксис выдает желание отойти от действия. Ваше бытовое чувство справедливо. Но бытовое чувство не является методом.

Он постучал указкой по слову «отношении».

— Здесь нет лжи. Есть перенос внимания. С действующего лица на объект. С действия на состояние. С события на результат. В экспертной практике такие переносы применяются до установления источника воздействия.

Я подняла руку. Несколько человек обернулись.

— Яна Андреевна, — Войцех не удивился. — Вопрос?

— До установления источника или вместо него?

На заднем ряду кто-то кашлянул. Войцех положил указку на стол.

— Это зависит от добросовестности эксперта.

— Значит, форма не нейтральна.

— Нейтральных форм не существует.

— Тогда почему в предварительном заключении по Павлу Тронину используется форма без действующего лица?

Он не ответил сразу. На этот раз он не снял очки, не потянул время красивым жестом; просто посмотрел на доску, будто выбирал, на каком примере меня остановить.

— Потому что действующее лицо не установлено.

— В вашем тексте для него нет места.

— В любом тексте место создаётся данными.

— Или закрывается формулировкой.

В аудитории стало тише, чем до начала занятия. Я услышала, как парень у окна поправил кабель камеры. Войцех повернулся к студентам.

— Вот полезный пример внешнего чтения. Специалист, не владеющий внутренней процедурой, естественным образом принимает осторожность за сокрытие.

Я почувствовала, как у меня поднимается злость. Очень удобно: назвать моё возражение примером, превратить человека в учебный материал, а вопрос — в симптом недостаточного допуска.

— А внутренний специалист, владеющий процедурой, естественным образом принимает сокрытие за осторожность, — ответила я.

Слишком гладко. Я поняла это в ту же секунду. Реплика вышла удачной, а удачные реплики здесь сразу становились частью чужого занятия.

Войцех даже слегка наклонил голову, как преподаватель, получивший ожидаемый вариант.

— Запишите, — обратился он к группе. — Полемика инверсия. Эффектна, методически слаба.

Несколько аспирантов послушно записали. Я опустила карандаш на тетрадь и впервые за утро почувствовала, что проиграла ход из-за желания выиграть его красиво.

Войцех взял чашку и поставил её на кафедру, ближе к краю.

— Вернёмся к сцене. У нас есть предмет, поверхность, группа свидетелей, отсутствие согласованного источника. Теперь добавим фактор интереса. Один из присутствующих заинтересован в том, чтобы субъект действия остался неизвестен. Второй заинтересован в быстром обвинении первого. Третий плохо видел событие, но уверен, что понял. Четвёртый пишет протокол.

Он повернулся к девушке в бордовом свитере.

— Вы — четвёртый. Составьте первую строку.

Девушка замерла. В зале несколько человек улыбнулись с облегчением тех, кого не вызвали.

— «Во время семинара чашка упала со стола и разбилась», — предложила она.

— Откуда взялось «упала»?

— Из события.

— Вы видели падение?

— В условии сказано...

— В условии сказано, что есть повреждение. Падение вы добавили.

Она поджала губы.

— «Во время семинара обнаружено повреждение чашки».

— Кем обнаружено?

— Участниками.

— Всеми?

— Мной.

— Значит?

Девушка выдохнула.

— «Я обнаружила повреждение чашки».

— Теперь у нас есть свидетель. Слабый, но честный.

Он написал её фразу сбоку, ниже остальных. Я отметила: Войцех не всегда прячет субъект. Он умеет возвращать его, если субъект безопасен. Вчера Стасова сказала «я», когда подпись уже была в пределах её власти. Сегодня Войцех разрешил студентке «я», когда её «я» ничего не решало, кроме аккуратности протокола.

У меня возникло желание записать это как вывод. Я не стала. В последнее время мои выводы слишком быстро становились чистыми.

Войцех тем временем вызвал к доске парня с камерой. Тот нехотя передал управление аспирантке у двери и вышел к кафедре.

— Вы будете заинтересованным лицом, — распределил Войцех. — Ваша задача — избежать прямого обвинения. Девушка в бордовом свитере ведёт протокол. Остальные свидетели по очереди дают версии. Я действую.

Он взял чашку, поднял на высоту груди и отпустил.

Чашка ударилась о пол. Звук вышел сухой, короткий; синяя кайма распалась на несколько фрагментов, ручка отлетела под первый ряд. Зал вздрогнул. Девушка на первом ряду отодвинула ноги.

Несколько секунд никто не говорил. Это было лучше всей лекции: реальная вещь исчезла как вещь, стала осколками, и каждому в аудитории требовалось выбрать, что он видел.

Войцех не наклонился за фрагментами.

— Начинаем.

Парень с камерой сглотнул.

— Чашка упала.

— Я её отпустил, — поправил Войцех.

— Вы демонстрировали.

— Я отпустил чашку.

- В рамках занятия.
- Уже контекст. Действие?
- Парень молчал.
- Действие, — повторил Войцех.
- Вы отпустили чашку.
- Последствие?
- Она разбилась.
- Ответственность?
- Учебная.

В аудитории несколько человек задвигались, кто-то улыбнулся. Войцех повернулся к девушке-протоколистке.

— Записывайте: «Преподаватель отпустил чашку в рамках демонстрации; чашка разбилась при контакте с полом». Допустимо. Теперь изменим условие. Преподаватель утверждает, что чашка выскользнула.

- Но я видел, что вы отпустили, — парень с камерой оживился.
- Вы видели движение пальцев?
- Да.
- Можете подтвердить намерение?

Он замолчал.

— Вот здесь начинается работа, — Войцех повернулся к залу. — Бытовое обвинение любит намерение. Протокол любит видимое действие.

Я записала: протокол любит видимое действие. Сразу зачеркнула «любит». Слишком хорошее слово для предмета, который не должен ничего хотеть. Написала: протокол принимает видимое действие. Тоже скверно, но хотя бы без живой привычки у бумаги.

— Яна Андреевна, — обратился ко мне Войцех, — предложите формулировку для случая с отсутствием подтверждённого намерения.

Мне хотелось отказать. Гость не обязан участвовать в цирке с посудой. Но отказать значило оставить сцену в его руках.

— «Роман Сергеевич Войцех удерживал чашку; после разжатия пальцев чашка упала и разбилась».

- Слишком много имени.
- Имя держит действующее лицо.
- Имя может перегрузить протокол.
- Удобная усталость у протокола.

Он проигнорировал укол.

— «После разжатия пальцев» — хорошая наблюдаемая формула. Но вы обходите глагол «отпустил». Почему?

Я открыла рот и закрыла. Вот это было неприятно. Он поймал меня там, где я сама не заметила.

Я действительно обошла «отпустил». Смягчила действие через часть тела, процесс, механику пальцев. Вернула субъекта именем, но сняла с него намерение. То есть сделала то же, за что нападала на их заключение, только с обратным знаком и из осторожности, которую сама бы назвала честностью.

Войцех дал паузе состояться. Не давил. Это раздражало сильнее.

- Потому что я не знаю, что вы хотели, — произнесла я наконец.
- Хорошо.

Он кивнул. Без победы. От этого проигрыш стал чище.

— Запишите, — обратился он к группе. — Внешний специалист сохраняет субъект, но снижает намеренность действия, поскольку источник намерения недоступен. Это профессионально. Уже ближе к методу.

Несколько карандашей зашуршали. Мне захотелось вырвать у них тетради. Глупое желание, очень человеческое; я оставила его при себе.

Дверь аудитории открылась. На пороге появилась Марта Лисицкая, в синем костюме под расстёгнутой курткой, с пачкой медицинских бланков в руке. Она окинула взглядом осколки у кафедры, Войцеха, студентов.

— Опять посуду переводите?

Кто-то на заднем ряду прыснул. Войцех поднял осколок ручки двумя пальцами.

— Практикум.

— У нас в процедурной тоже практикум, только чашки целые нужны.

— Марта Викторовна, занятие идёт.

— А у меня Тронин проснулся.

Слова не были громкими, но аудитория сразу потеряла учебный вид. Девушка в бордовом свитере перестала писать. Рябинин в комнате отсутствовал, но я вдруг ясно представила, как он поставил бы стакан и пошёл бы первым.

Я поднялась.

— Что с ним?

— Зовёт.

— Меня?

Марта посмотрела на Войцеха, затем на меня.

— Фамилию повторяет. Остальное комкает.

Войцех положил осколок на блюдце.

— Пациенту противопоказана речевая нагрузка.

— Пациент уже нагрузился без вашего разрешения.

Она стояла у двери без кафедральной вежливости, и от этого в аудитории сделалось легче дышать. Я собрала блокнот. Войцех не остановил меня, только произнёс вслед:

— Яна Андреевна, в вашем протоколе по чашке субъект сохранён, но действие ослаблено. Запомните это.

Я остановилась в проходе.

— Запомню.

И пошла за Мартой.

В коридоре она сразу ускорила шаг. Я едва поспевала.

— Он правда зовёт?

— Он не зовёт как нормальные люди. У него изо рта каша с костями. Но вашу фамилию я разобрала.

— Почему Войцеха не позвали?

— А зачем? Чтобы он объяснил Павлу Андреевичу, что тот сам себя неправильно формулирует?

Мы свернули к лестнице. Марта шла вниз через ступеньку. У меня в пальцах всё ещё был карандаш; я не помнила, как вынесла его из аудитории. На грифеле осталась белая пыль от страницы.

— Вы видели его ночью? После укола?

— Видела.

— Он говорил?

— Два раза. Один раз про холод. Второй раз вашу фамилию. Без окончания.

Я остановилась на площадке между этажами.

— Вы слышали «сохран...»?

— Да.

— Может быть «сохранена»?

Марта повернулась, поджала папку с бланками под мышку.

— Может. А может, «сохранить». А может, «сохранность». Вы же у нас по этим штукам, вот и не додумывайте за больного.

Попала. Чисто, без семинара, без доски. Гуров утром говорил то же самое другими словами, Войцех только что показал на чашке. Я хотела вернуть субъект туда, где его украли, и из-за этого уже начинала подставлять под обрыв удобный конец.

Марта смотрела на меня снизу вверх, со ступеньки.

— Идёте?

Я кивнула.

Мы спустились ещё на два пролёта. У выхода из старого крыла я машинально открыла блокнот, чтобы проверить записи по семинару. На последней строке стояло:

Роман Сергеевич Войцех удерживал чашку; после разжатия пальцев чашка упала и разбилась.

Ниже, в углу, я добавила коротко, без вывода:

Я тоже ослабила действие.

Марта уже толкнула дверь в переход.

— Резник, шевелитесь.

Я закрыла блокнот и пошла следом.

Глава пятая. Акустическая камера

К палате Тронина мы шли так быстро, что Марта на поворотах придерживала папку с бланками локтем, а я несколько раз задевала плечом стену. В старом крыле после семинара ещё звенели голоса студентов; за дверью аудитории кто-то собирал осколки чашки в картонную коробку, и этот мелкий стук тянулся за нами по лестнице, пока его перекрыл звук лифта.

— Он один? — спросила я.

— Сестра у поста. Рябинин уже там.

— Откуда он узнал?

— У него уши по всему корпусу. Или нервы хорошие. Разницы для нас мало.

Марта свернула в переход к медико-речевой части. Дневной Лог-17 за стеклом выглядел беднее ночного: те же корпуса, тот же снег на крышах, трубы котельной, узкая дорога к шлагбауму, но без темноты всё стало канцелярским, как приложение к смете. Внизу у служебного входа двое мужчин грузили в сани ящики с овощами; один поскользнулся, выругался, второй поддержал его за рукав. Простое движение, без протокола. Я успела позавидовать обоим.

У палаты стоял Рябинин. В руке он держал бумажный стаканчик, уже смятый по краю. Увидев Марту, он оттолкнулся от стены.

— Что у нас?

— У нас Павел Андреевич решил поговорить, — отозвалась она. — Как умеет.

— Врача звали?

— Врач сейчас будет писать, почему вчера уже всё написал. Заходите.

В палате свет был приглушён. Тронин лежал выше, изголовье подняли; на шее проступили сухожилия, губы стали светлее, глаза держались открытыми. Он увидел меня сразу. Не узнал — это было бы слишком простое слово. Скорее, сопоставил.

— Резник, — выговорил он.

Я подошла ближе. Блокнот доставать не стала, хотя пальцы сами искали карандаш в кармане.

— Я здесь.

На мониторе цифры сдвинулись, Марта бросила на них короткий взгляд.

— Резник...

— Что Резник?

Он слотнул. Движение прошло с болью; Лисицкая чуть наклонилась, готовая вмешаться.

— Ф... четыре.

Рябинин поднял голову.

— Фонетика четыре? Камера?

Тронин закрыл глаза. На лбу выступили мелкие складки, рот пытался собрать новое слово.

— Лента.

— Что с лентой? — я наклонилась ниже.

— До... конца...

Марта сжала край одеяла.

— Павел Андреевич, не надо рвать горло.

Он открыл глаза на неё. Взгляд был ясный, сердитый; в нём ещё оставался человек, которого раздражает забота в неправильную минуту.

— До конца... нельзя.

— Слушать нельзя? — уточнила я.

Пауза. Ответа не было. Он просто перестал держать фразу, как удерживают тяжёлую дверь. Марта шагнула к капельнице.

- Всё. На сегодня концерт окончен.
- Ф-4 — это камера? — спросила я у Рябина.
- Акустическая. Там его нашли.
- Камера опечатана?
- Бумагой. Замок остался у техника.

Марта уже меняла положение трубки у запястья Тронина.

— Савельев сейчас на смене, — бросила она. — Если пойдёте, идите втроём. Он Рябина пускает через раз, меня — когда я кричу, вас — только если рядом кто-нибудь с ключами и совестью.

— У Савельева есть совесть? — уточнил Рябинин.

— У него ключи. Не жадничайте.

Через пять минут мы вышли из медико-речевой части: я, Рябинин и Марта, которая сняла халат, накинула куртку и забрала у поста связку внутренних пропусков. Она шла впереди, словно знала все боковые ходы и каждый из них уже когда-то ругала. На лестнице Рябинин протянул мне сложенный лист.

— Копия первичного осмотра камеры. Только не смейтесь.

— Я после семинара Войцеха по чашке. Смеяться нечем.

Лист был короткий. «Акустическая камера № 4 обнаружена замкнутой. Внутри находился П. А. Тронин. Магнитофонная запись была произведена. Следы борьбы отсутствуют. Техническое повреждение замка не подтверждено».

— Опять само, — проговорила я.

Рябинин кивнул.

— Камера обнаружена. Запись произведена. Повреждение не подтверждено. Все при деле, людей нет.

Я вернула лист. На этот раз не стала добавлять ничего удачного. Слишком легко было превратить ужас Тронина в фразу, удобную для блокнота.

Корпус фонетики стоял за главным зданием, ближе к склону. К нему вёл крытый переход с матовыми стёклами; вдоль стен висели старые фотографии экспедиций: люди с магнитофонами на деревянных столах, женщины в платках у низких домов, мальчик возле колодца, мужчина с блокнотом на фоне реки. Под снимками были шифры, места, годы. Многие названия я видела впервые. Некоторые, вероятно, уже существовали только здесь, под стеклом, в подписи мелким шрифтом.

У входа в корпус фонетики Марта приложила пропуск к считывателю. Дверь осталась закрытой. Она приложила ещё раз, медленнее. Красная лампочка сохранила цвет.

— Вот сучий праздник, — выдохнула она и постучала кулаком по стеклу.

За дверью появился мужчина лет шестидесяти, низкий, плотный, в рабочем халате поверх свитера. Волосы торчали по бокам, на переносице сидели очки с одной залепленной дужкой. Он посмотрел на нас, поднял руку с ключом и очень ясно показал: ждите.

Марта наклонилась к считывателю.

— Савельев, если вы сейчас начнёте оформлять наш приход через журнал, я вам сама давление померю, и вам результат не понравится.

Дверь открылась.

— А я думал, вы по делу, — проворчал техник.

— Мы всегда по делу, когда без бахил.

— По делу ходят с бумагой.

Рябинин достал удостоверение.

— Бумага у меня.

— У вас прошлый раз тоже была. Следом режимный отдел меня полдня ел.

Я заметила, что Марта усмехнулась; слово из прошлой фразы техника она пропустила, но Рябинин поморщился. Я тоже отметила — не из-за грубости, из-за того, как быстро любая история здесь превращалась в чей-то внутренний ущерб.

— Павел Андреевич назвал Ф-4, — произнесла я. — И ленту.

Савельев перестал смотреть на Рябинина. Его глаза перешли на меня, затем на Марту.

— Он очнулся?

— Отвечает кусками, — буркнула она. — И хватит делать вид, что вы не знали.

Техник отступил в сторону.

— Руки от камеры. Ручки на месте. Кабели на месте. Журнал закрыт.

— Поняла, — ответила Марта. — Значит, ручки, кабели, журнал.

— Марта.

— Иду тихо.

Она прошла первой.

Внутри корпуса фонетики было тише, чем в остальных зданиях. Причина была в устройстве: толстые двери, тканевые панели на стенах, ковровые дорожки под ногами, таблички «ЗАПИСЬ» и «ВХОД ЗАКРЫТ» над небольшими лампами. На стеллажах за стеклом стояли коробки с катушками, кассетами, цилиндрами в картонных футлярах, пластиковыми контейнерами с цифровыми носителями. Возле одной двери висел лист: «Прослушивание материалов красного допуска только через дежурного оператора». Снизу кто-то карандашом приписал: «и через таблетку от головы». Подпись была вытерта.

Савельев заметил мой взгляд.

— Это Марта.

— Я грамотнее пишу, — отозвалась она.

— Вы громче пишете.

— Зато читают.

Он повёл нас по коридору к дальней секции. У двери с номером Ф-4 висела бумажная лента с печатью режима. Печать была целая, но над ручкой стояли следы от старых снятых лент, клей впитался в краску рваными прямоугольниками. На стене рядом — карточка помещения: «Акустическая камера № 4. Объём 18 м³. Допустимая речевая нагрузка: индивидуально. Запись: катушечный блок / цифровой дубль».

Рябинин показал Савельеву копию разрешения. Тот прочитал каждую строку, хотя наверняка знал текст заранее, снял бумажную ленту, положил её в прозрачный пакет и открыл дверь ключом. За первой дверью был узкий тамбур, за ним вторая дверь, толще, с резиновым уплотнителем и круглым смотровым стеклом. Внутренней ручки я не увидела.

— Изнутри открывается? — спросила я.

— При свободном внешнем фиксаторе, — ответил Савельев.

— А если фиксатор закрыт?

— Тогда ждёте оператора.

— Тронин мог открыть?

Техник повернул на меня глаза.

— При закрытом фиксаторе никто не открывает. Он для этого и фиксатор.

Рябинин указал на протокол.

— У них написано: «камера оказалась замкнутой».

— У них много что написано, — Савельев вставил второй ключ. — У меня замок закрыт ключом или открыт ключом. Остальное к Войцеху.

Марта фыркнула.

— Вот, Семён Палыч, умеете же говорить по-человечески.

— Я с утра ел.

— Значит, редко.

Он открыл вторую дверь. Мы вошли.

Камера была меньше, чем я ожидала. Стены покрывали тёмные клиновидные панели; потолок ниже обычного, свет из плоской лампы, стол у дальней стены, один стул, подставка под микрофон, стекло операторского окна, за которым виднелся пульт. На полу белели мелкие отметки от криминалистической разметки: место стула, положение тела, кабель, упавший карандаш. В углу стоял катушечный магнитофон на металлической стойке; левая катушка заполнена, правая приняла часть ленты. Лента была остановлена, закреплена бумажным флажком.

Я вошла на два шага и остановилась. Внутри звук менялся сразу. Дыхание становилось ближе к горлу, шаги не уходили в коридор, ткань пальто при движении давала короткий шорох и тут же обрывалась. Тело начинало считать себя громче. Я поняла, почему здесь легко потерять меру речевой нагрузки: каждое слово возвращалось к человеку без расстояния.

— Здесь он лежал? — спросила Марта.

Савельев указал на отметку возле стола.

— Тут. Головой к двери. Руки на груди. Стул сдвинут.

— Кровь?

— Нет.

— Следы борьбы?

— В протоколе читали.

— Я вас спрашиваю.

Техник помолчал. У него дёрнулась щека.

— Стул царапнул пол. Кабель был под ногой. На столе карточки. Больше ничего глазами не видел.

— Карточки где? — спросила я.

— Забрали.

— Кто?

Он посмотрел на Рябина.

— Комиссия.

— Фамилии?

— Журнал.

— Вы же сами велели в него не лезть.

— Я велел вам.

Рябинин сделал шаг к операторскому окну.

— Журнал после осмотра.

Савельев щёлкнул языком, но спорить не стал.

Я подошла к столу. На поверхности оставались следы от разметочных наклеек и слабые графитовые точки, где кто-то, вероятно, фиксировал положение карточек до изъятия. У края лежал пластиковый стаканчик с крышкой, запечатанный в пакет. На наклейке: «не относится». В районном следствии так часто пишут на самом полезном предмете.

— Это чей? — я указала на пакет.

— Из мусорного ведра, — ответил Савельев. — Внутри камеры стоял. Криминалисты забрали, вернули как бытовой.

— Отпечатки?

— Смотрите заключение.

Рябинин ответил вместо него:

— Только Тронин. И ещё смазанные, непригодные.

— Удобное слово, — пробормотала Марта.

Савельев открыл маленький шкаф у стены. Там лежали одноразовые накладки на наушники, перчатки, пустые коробки для катушек. Он взял перчатки, протянул мне.

— Ленту слушать через пульт. В камере — только визуально.

— Тронин просил про ленту.

— Он просил вас. Лента ничего не просила.

Марта глянула на него с интересом.

— Семён Пальч, вы сегодня в ударе.

— Вы меня довели.

Мы перешли в операторскую. Там было светлее и теснее: пульт, два монитора, катушечный блок дубля, цифровой рекордер, журнал в твёрдой обложке, телефон внутренней связи. На стене висела схема камер с лампочками состояния. У Ф-4 горела жёлтая.

Савельев вставил ключ в блокиратор, снял защитную крышку с кнопок.

— Запись помечена пустой. Слушать можно фрагментами. До красной метки не доводить.

— Красная метка где? — спросила я.

— Услышите щелчок таймера на двадцать третьей минуте. Дальше материал закрыт.

— Если запись пустая, что там закрывать?

Он поставил катушку на ось.

— Вот и спросите у тех, кто пометил.

Рябинин встал у журнала, но Савельев накрыл его ладонью.

— Сначала прослушивание. У меня допуск на одно действие за раз.

— Это правило?

— Это опыт.

Я надела наушники. Пластик был холодный, дуга давила на макушку. Савельев включил воспроизведение. В наушниках пошёл технический шум ленты; я тут же мысленно остановила готовое слово. Просто шум. Шорох механики, лёгкие щелчки на стыках, электрическое шипение, провалы. Голоса не было.

На первой минуте я услышала движение стула. Или решила, что услышала. На третьей — короткий удар, похожий на кабель о ножку стола. На пятой — собственное дыхание стало мешать, и я сняла один наушник.

— Там ничего, — произнёс Рябинин.

— Рано.

Я вернула наушник.

Седьмая минута. Десятая. Четырнадцатая. Время на счётчике двигалось цифрами; лента шла через головку, правая катушка набирала витки. Я записывала: шум, стул?, кабель?, пауза. На шестнадцатой минуте пальцы добавили: «громкость увеличена». Я посмотрела на строку и почувствовала досаду. Громкость увеличила я. Аппарат, режим и обстановка служили прикрытием.

Я зачеркнула пассив одной линией и написала рядом:

я увеличила громкость.

Марта стояла за моей спиной. Не знаю, видела ли она запись; ладонь её легла на спинку моего стула.

— Что?

— Ничего. Слушаю.

Семнадцатая минута дала короткий провал, затем тонкий звук на границе слышимости: не слово, скорее начало имени, детский слог, вытянутый и сразу обрезанный. Я подняла руку, останавливая остальных.

— Назад на десять секунд.

Савельев перемотал. Снова шум, щелчок, провал. Слог исчез.

— Ещё раз.

Он перемотал.

На этот раз я услышала только кабельный треск.

— Что там? — Рябинин наклонился.

— Не уверена.

— Голос?

— Обрыв.

— Чей?

Я сняла наушники. После них операторская казалась слишком громкой: ключи у Савельева, бумага под локтем Рябинина, Марта у двери, лифт где-то в корпусе.

— Нельзя утверждать.

Савельев посмотрел на меня с первым подобием уважения.

— Правильный ответ для этого места.

— Не радуйтесь.

— Я не радуюсь. Я старый.

Он включил ленту дальше. Девятнадцатая минута. Двадцатая. Двадцать первая. На двадцать второй минуте в шуме появился другой слой — низкое дрожание, будто рядом работал мотор. Савельев нахмурился и убавил громкость сам.

— Этого быть не должно.

— Что это? — спросила Марта.

— Не камера. Внешняя линия.

— Записалась через пульт?

— Или пришла из дубля.

Счётчик подошёл к двадцать третьей минуте. В наушниках щёлкнул таймер. Савельев выключил воспроизведение быстрее, чем я успела попросить.

— Всё.

— Ещё секунда.

— Красная метка.

— Тронин говорил «до конца нельзя». Он мог иметь в виду именно это.

— Тогда тем более.

Рябинин взял журнал и развернул к себе.

— Смотрим входы.

Савельев устало потянулся к журналу, но отбирать не стал. Страницы были плотные, с пронумерованными строками. Записи за ночь инцидента: 22:10 — Савельев С. П., проверка линии; 22:47 — Тронин П. А., доступ по карте; 23:15 — запись активирована по расписанию; 01:08 — дежурная проверка статуса, отметка оператора; 01:32 — камера Ф-4 обнаружена замкнутой; 01:38 — передача пациента медико-речевой части.

— Оператор кто? — спросила я.

Савельев указал на подпись.

— Я.

— В 01:08 вы проверяли статус?

— По схеме. Лампочка горела штатно.

— Вы смотрели в окно?

— Нет. По регламенту ночной проверки достаточно схемы.

— Кто обнаружил в 01:32?

Он перевернул страницу.

— Я.

— Почему пошли?

— Лента шла дальше программы.

— Программа сколько?

— Двадцать три минуты.

Мы переглянулись. Рябинин ткнул пальцем в строку 23:15.

— Запись активирована по расписанию. Завершение должно было быть в 23:38.

— Да.

— А она шла до 01:32?

— Да.

— Почему в протоколе этого нет?

Савельев закрыл журнал.

— Меня спросили, была ли запись произведена. Я ответил: была.

Марта выругалась без громкости. Рябинин медленно убрал руку с журнала.

— Семён Павлович.

— Я написал объяснительную. Две. В первой указал превышение длительности. Во второй режимный отдел попросил меня отвечать на заданные вопросы.

— Где первая?

— У меня копии нет.

— А в журнале?

— В журнале время есть.

Я посмотрела на счётчик магнитофона. Запись, которая должна была кончиться на двадцать третьей минуте, шла больше двух часов. Пустая запись, в которой на семнадцатой минуте возникал слог, а за минуту до закрытого участка — внешний низкий слой. В протоколе всё это случилось до «запись была произведена».

— Камера была закрыта всё это время? — уточнила я.

— По схеме — да.

— Кто мог снять внешний фиксатор?

— Оператор, дежурный по корпусу, режимный доступ, сотрудник с допуском Ф. Плюс аварийный ключ у медчасти.

— У Марты?

— В медчасти, — отрезала она. — У меня ключ от людей, не от ваших сейфов.

— Журнал фиксирует снятие фиксатора?

— Должен.

— За ту ночь?

Савельев открыл журнал на соседней странице и развернул. Строка фиксатора Ф-4 была пустой до 01:32, где стояла его подпись. До обнаружения фиксатор официально не снимался.

— Тогда Тронин не мог выйти.

— Да.

— И никто официально не входил.

— Да.

— Но кто-то его вынес.

Савельев посмотрел на стекло камеры. За ним стоял пустой стул, белые метки на полу, магнитофонная стойка. Он провёл ладонью по журналу, собирая край страницы, и ответил уже без служебной обороны:

— Вынесли трое. Я, медсестра и охранник. После моей отметки.

— До этого?

Он молчал.

Рябинин сделал запись в своём блокноте. На этот раз он писал долго, без комментариев. Марта вышла из операторской в тамбур, вернулась через полминуты.

— Я изнутри кнопку проверила. Она мертвая.

Савельев резко повернулся.

— Какую кнопку?

— Аварийную. Не орите. Я пальцем ткнула.

— Её проверяли утром.

— Значит, проверяйте после меня.

Мы вернулись в камеру. Внутри, справа от двери, действительно была маленькая круглая кнопка аварийного вызова с прозрачной крышкой. Савельев нажал. В операторской лампа не загорелась. Он нажал ещё раз, сильнее. Ничего.

— Питание снято, — произнёс он.

— Кем? — спросил Рябинин.

Савельев открыл крышку маленького щитка под кнопкой. Два провода были выведены из клеммы и аккуратно заизолированы белой лентой.

Марта присвистнула.

— Руки бы оторвать.

— Когда это сделали? — спросила я.

Техник смотрел на провода так, будто схему щитка помнил с закрытыми глазами и сейчас увидел лишнюю линию в знакомом чертеже.

— После последней проверки. Вчера в восемнадцать тридцать кнопка работала.

— Кто заходил после?

— Журнал.

— Покажете.

— Да.

Он ответил сразу. Спор исчез.

Я стояла у двери камеры и смотрела на кнопку. Простая аварийная кнопка, маленькая, дешёвая, с белой лентой внутри щитка. Здесь хватало дешёвой детали: человек в комнате нажимал бы на неё, а вызов не ушёл бы дальше стены.

— Вот теперь у нас есть событие, — проговорил Рябинин.

Марта повернулась к нему.

— У вас. У него оно было ночью.

Никто ей не ответил. Савельев снял щиток полностью, положил на стол, достал из кармана пакет для мелких деталей. Рябинин позвонил кому-то из районного отдела, требуя криминалиста с допуском и нормального фотоаппарата. Марта ушла к двери, чтобы предупредить пост медчасти. Я осталась возле кнопки.

На полу под ней, в узкой щели между панелью и стеной, лежал маленький кусок белой изоляции. Я присела, посмотрела ближе, но руками трогать не стала.

— Семён Павлович.

Савельев подошёл, крикнул, наклонился. Увидел.

— Это не моё.

— У вас бывает другая?

— У меня синяя.

Рябинин прикрыл телефон ладонью.

— Не трогать.

— Я и не трогаю.

Я выпрямилась. В блокноте на странице прослушивания остались две строки рядом: «громкость увеличена» и «я увеличила громкость». Первая была зачёркнута, вторая выглядела некрасиво, с рваным нажимом, зато держалась за меня крепче.

В тамбуре Савельев снова закрыл камеру. Сначала внутренняя дверь, затем внешняя. Ключ повернулся в фиксаторе, на схеме в операторской лампа Ф-4 сменила цвет. Я попросила открыть изнутри. Он без слова впустил меня обратно в камеру, вышел в тамбур и закрыл фиксатор.

Я нажала внутреннюю ручку. Она подалась на сантиметр и остановилась. Нажала кнопку аварийного вызова, уже зная результат. Ничего.

За стеклом операторского окна стояли Рябинин, Марта и Савельев. Их рты двигались, но из камеры звука не было. Я подняла руку, показывая, что достаточно. Савельев снял фиксатор. Дверь открылась.

Я вышла в тамбур и вернула ему наушники. Пластик был тёплым от ладоней. Савельев снова протянул бумажную ленту через дверь Ф-4, прижал печать. Оттиск съехал в сторону. Он выругался и поставил второй.

Глава шестая. Голос информанта

Савельев оформлял повторную пломбу на Ф-4 дольше, чем Рябинин разговаривал с районным отделом. На столе в операторской лежали пакет с кусочком белой изоляты, снятая крышка аварийной кнопки, журнал входов, копия разрешения, мои наушники и две перчатки, которые я сняла слишком рано и теперь не знала, куда деть. Техник выдал мне новый пакет для перчаток, подписал его своим кривым почерком и сунул в отдельный лоток.

— Всё через лоток, — буркнул он. — Иначе режим ест меня с костями.

— Ест или оформляет?

— Сначала оформляет.

Марта ушла в медчасть проверить Тронина. Рябинин спорил по внутреннему телефону, требуя криминалиста с допуском, и всё время поворачивался к журналу, будто тот мог исчезнуть со стола, пока он отвернулся. Савельев, напротив, смотрел на аппаратуру. В его внимании к вещам было что-то успокаивающее: у ключа есть борода, у провода — клемма, у катушки — сторона. Никакой метафизики, только крепёж и схема.

— Обрыв на семнадцатой минуте можно поднять? — спросила я.

— Можно поднять, можно испортить, можно получить выговор. Три разные работы.

— Мне нужна первая.

— Всем нужна первая.

Он сел к пульту, поставил локти на край стола и открыл на мониторе цифровой дубль ленты. На экране появилась дорожка: светлая линия, сжатая в рваные сгустки, отметки времени, красная вертикаль на двадцать третьей минуте. Слева в маленьком окне было написано: Ф-4/ПАТ/ночн./внутр. копия.

— До красной метки, — напомнил Савельев. — Дальше без отдельной подписи.

— А если обрыв до неё?

— Тогда слушаем и морщимся.

Он выделил фрагмент с шестнадцатой минуты сорок секунд до семнадцатой десять. В наушниках снова пошёл шум ленты, шелчок, провал, короткий тон на границе слышимости. Я подняла руку. Савельев остановил.

— Вот здесь.

— Я вижу выброс.

— Это голос?

— Это кусок чего-то, что когда-то могло быть голосом.

— Мужской? Женский? Детский?

Он покосился на меня.

— Если бы я знал, у меня была бы другая зарплата.

Рябинин закончил разговор, подошёл к нам и опёрся ладонями о спинку соседнего стула.

— Можно сравнить с базой?

Савельев издал звук, который у техников заменяет лекцию о глупости начальства, плохих кабелях и недостатке времени.

— С какой базой? У нас тут голоса с шестьдесят второго года. Катушки, кассеты, цифра, полевые дубли, учебные нарезки, мёртвые форматы. Сравнить можно хоть с хором райисполкома.

— Служебные контрольные фонограммы, — уточнила я. — Ф-4 настраивали на каком материале?

Он перестал ворчать. Это был хороший признак.

— Умная. Неприятно.

— Я по работе.

— Все по работе, а страдаю я.

Он открыл шкаф под пультом, достал папку с распечатками и пролистал до листа, где стояли даты проверок. Под последней записью была строка: «контрольный материал: ИНФ/У-Р/17, копия В». Напротив — подпись Савельева.

— ИНФ — информантский фонд? — спросила я.

— Да.

Рябинин заглянул через моё плечо.

— У-Р?

— Усть-Речь, — ответил Савельев. — Старый полевой фонд. Его держат для контрольных шипящих и долгих гласных. Материал живучий, техника его понимает.

— Кто выдавал?

— Архив.

— Гуров?

— Через Гурова.

Савельев снял трубку внутреннего телефона и набрал короткий номер.

— Лев Матвеевич? Фонетика. По Ф-4 контрольная У-Р семнадцать. Резник спрашивает. Да, та самая. Нет, руками не трогает. Пока.

Он положил трубку.

— Идёт.

Гуров пришёл через восемь минут. За это время Рябинин успел дважды открыть журнал, Савельев дважды его закрыть, а я — переписать в блокнот техническую строку про ИНФ/У-Р/17. В графе «возможная связь» я поставила тире. Хотелось поставить вопросительный знак, но их у меня за день стало слишком много.

Гуров появился без пальто, с серой папкой и коробкой для катушки. Он поздоровался с Рябининым, кивнул Савельеву и остановился возле меня.

— Вы быстро дошли до старого фонда.

— К ней привёл материал.

— Так лучше.

— Контрольный материал можно прослушать фрагментарно, — решил он. — Без полного шифра в выписке. Без копирования. Без произнесения фрагментов красной группы.

— Мне нужно сравнить обрыв.

— Сравните слухом. Письменно — только смысловые пометы.

Он поставил коробку на стол. На крышке был старый шифр, несколько раз переклеенный: ИНФ/У-Р/17-КВ. Сбоку карандашом приписали: «жен., 30–35; полевая проба; дети в помещении». Последняя часть была обведена красным.

— Дети? — Рябинин поднял голову.

— Фонд старый, условия записи полевые, — отозвался Гуров. — Стандарты тогда были иными.

— Дети в помещении — это помеха?

— Иногда источник.

Он сам понял, что выдал лишнее, закрыл коробку ладонью и передал её Савельеву.

Савельев поставил катушку на отдельный блок, проверил натяжение, дал мне другие наушники. Эти были легче, с треснутой дугой, перемотанной чёрной лентой. Я села. Гуров придвинул стул сбоку, Рябинин остался за моей спиной. Савельев включил воспроизведение.

Сначала шёл мужской голос полевого работника: возраст, место, дата, номер информанта. Часть слов была заглушена технической помехой, часть Гуров велел пропустить. Женщина отвечала односложно. Голос низкий, грудной, с мягким южным смещением гласных; от таких голосов в протоколах часто остаётся половина: расшифровщик пишет «нрзб.» там, где просто ленится привыкнуть к человеку.

— Повторите ряд, — попросил полевой работник в записи. — Дом. Дома. Домом. В доме. Женщина повторила. Затем ещё раз, медленнее. За дальним слоем послышался детский шорох, короткий писк, движение по полу.

— Посторонний, — отметил Савельев рядом с пультом.

Я подняла палец: слушаю.

Полевой работник попросил следующий ряд. Женщина начала, сбилась, засмеялась коротко, без веселья, скорее от усталости.

— Не сюда, — произнесла она в сторону. — Стой там.

Детский голос ответил так тихо, что я разобрала только конец вопроса: «...где?»

Женщина, уже не в микрофон, ближе к комнате, чем к записи, выговорила:

— Я у себя есть.

Я записала услышанное автоматически. Не подчёркивая. Без знака.

Полевой работник в записи кашлянул и вернул её к ряду: дом, дома, домом, в доме. Женщина повторила. Ребёнок больше в фрагмент не вошёл.

Савельев остановил катушку.

— Оно?

Я попросила вернуть на пять секунд. Он вернул. Снова: детский обрыв, женская фраза, уход обратно к упражнению. Я сняла наушники.

— Не похоже на фрагмент из Ф-4.

— По спектру тоже, — Савельев указал на экран. — Там обрыв тоньше. Здесь полная фраза в комнате.

— Но линия могла подтянуть кусок контрольной фонограммы?

— Если блок глючил, мог подтянуть технический след. Полную реплику — нет.

Гуров протянул руку к коробке.

— Значит, контрольный фонд не даёт прямого совпадения.

— Прямого — нет, — подтвердила я.

Рябинин присел на край стола, за что Савельев сразу шикнул.

— А сама фраза что значит?

Я посмотрела на свои записи. Четыре слова. Бытовая реплика, произнесённая в сторону ребёнка, вне упражнения. В транскрипции она выглядела чужеродно рядом с падежным рядом, как крошка хлеба на судебном постановлении.

— Некорректная рефлексивная конструкция, — ответила я. — Похоже на домашний оборот. Возможно, локальное. Контекст бытовой. К материалу контроля относится слабо.

— То есть мусор?

— Побочная реплика.

Гуров смотрел на мой блокнот. Я прикрыла страницу ладонью, сама не поняв зачем.

— Побочные реплики иногда сохраняют больше, чем ряд, — произнёс он.

— А иногда мешают, — возразила я.

— Да.

Он согласился без спора. Меня опять это задело.

Савельев перемотал катушку к началу фрагмента и включил фрагмент через колонку, без наушников, очень тихо. В операторской звук стал площе: женская реплика ушла глубже, полевой работник выделился резче, детский обрыв смешался с техническим слоем. Те же слова прозвучали короче, суше.

Я не узнала ничего. Это надо честно записать, хотя честность здесь звучит глупо: узнавать было нечего. Моя мать погибла, когда я была маленькой; голосов в памяти от того времени осталось мало, и все они давно перемешались с посторонними записями, судебными кассетами, старым видео, где родственники говорят громче, чем нужно, так как камера кажется им глухой. Женщина на ленте была информанткой из Усть-Речи. Код, возраст, полевая проба. Всё.

Под языком стянуло, как перед трудным словом. Я решила, что это от наушников и усталости.

— Переписывать? — спросил Савельев.

— Фрагмент ряда — да. Побочную реплику можно отметить как нерелевантную.

Рябинин посмотрел на меня.

— Вы уверены?

— Для сравнения с Ф-4 она ничего не даёт.

— А для Тронина?

— Пока тоже.

Слово «пока» вышло само. Я оставила его без правки.

Гуров открыл серую папку, вынул карточку с полями для внешнего специалиста и придвинул ко мне. Вверху стояло: «ИНФ/У-Р/17-КВ. Прослушивание фрагментарное». Ниже: «Замечания». Я взяла архивный карандаш.

В строку фрагмента внесла: «падежный ряд: дом — дома — домом — в доме; артикуляция устойчива; посторонние шумы; побочная реплика информанта вне задания». Рядом поставила скобку, вынесла реплику в примечание, после паузы добавила:

быт.; рефл. оборот неясен; для сравнения с Ф-4 значения не имеет

Карандаш оставил серый след. Фраза вышла меньше остальных строк. Так бывает, когда рука сама решает понизить важность материала.

— Можно? — Гуров протянул ладонь.

Я передала карточку. Он прочёл мои пометы. На слове «быт.» задержался, но замечания не сделал. Вернул карточку в папку.

— Старый фонд всегда рассыпается на такие вещи, — проговорил Савельев, снимая катушку. — Им одно слово надо, а им в комнате дети, печка, куры, сосед пришёл, трактор завёлся. Научный материал, ага.

— Печка и трактор в ваш протокол не попадают, — заметил Рябинин.

— И слава богу. У меня шкафы и так трещат.

— Трещат шкафы, а выбрасывают людей, — Марта вошла без стука.

Она вернулась из медчасти, в куртке, с медицинской папкой под мышкой. Савельев поднял глаза к потолку.

— Вас кто пустил?

— Дверь. Павел Андреевич заснул. Дышит сам. Вы тут что нашли?

— Побочную реплику, — ответил Рябинин.

— Денег за неё дадут?

— В этом учреждении за побочное обычно платит пациент, — буркнул Савельев.

Марта подошла к столу, наклонилась к карточке, но Гуров уже закрыл папку.

— Секреты?

— Чужой фонд.

— У вас все фонды чьи-нибудь. Только на ярлыках это плохо видно.

Она бросила это без нажима и занялась стаканчиком у пульта: нашла в нём засохший чайный пакетик, поморщилась, выбросила. Гуров не ответил. Савельев убрал катушку в коробку, зафиксировал край ленты бумажной полосой, поставил подпись на наклейке.

— Сравнение с Ф-4 не подтвердилось, — подвёл он. — Можете так писать.

— Я так и напишу, — отозвался Рябинин. — Только с проводами мне тоже надо писать.

— Пишите. Провода реальные.

— Благословение техника получено.

— Не ёрничайте над проводами.

Мне выдали лист возврата. Я расписалась в графе внешнего прослушивания. Гуров забрал папку и коробку. На боковой стороне коробки, под старым шифром, я заметила ещё одну наклейку, частично закрытую серой полосой. На ней оставались две буквы и точка:

Л. Р.

Я успела посмотреть, но смысла не возникло. В архивах инициалы попадают чаще имён; Л. Р. могла быть информанткой, полевым сотрудником, регистратором, кем угодно из старого фонда. Я даже не записала. В тот момент важнее были провода, журнал и лента Ф-4.

Гуров убрал коробку в серый переносной контейнер. Замок щёлкнул. Савельев вернул ключ в шкаф. Марта потребовала у него нормальный чай для медчасти, получила вместо ответа пакет с одноразовыми накладками для наушников и обозвала это издевательством над больными.

Я стояла у пульта и смотрела на карточку с собственной пометой, пока Гуров не вложил её в папку.

быт.; рефл. оборот неясен; для сравнения с Ф-4 значения не имеет

Он завязал папку. Дурацкий узел скособочился; Гуров с досадой развязал его и затянул намертво.

Глава седьмая. Именительный отсутствует

Допуск к повторному разговору с Трониним оформляли через три подписи, две печати и короткую строку медицинского ограничения: «без провокации местоименной формы». Лисицкая прочитала строку вслух, ткнула ногтем в слово «провокации» и посмотрела на меня поверх листа.

— Это про вас.

— Про меня обычно пишут длиннее.

— Я им сократила.

Она сидела за сестринским постом, заполняла температурные листы и одновременно следила за дверью палаты, монитором в углу экрана, медсестрой у процедурной и мной. На столе у неё стояла кружка с остывшим чаем, рядом лежали ножницы, рулон пластыря, пачка марлевых салфеток и ручка с треснувшим корпусом. Вся её власть помещалась в этих предметах. На фоне кафедральных кабинетов это выглядело скромно; после палаты Тронина — надёжнее любых кабинетов.

— Я не буду просить его повторять «я», — произнесла я.

— Уже прогресс.

— Мне нужны карточки. Любые. Бумага, карандаш. И чтобы он мог отвечать движением.

— Он у нас не собака Павлова.

— Я тоже.

Лисицкая отложила температурный лист.

— Резник, я вас пушу. Но если он начнёт валиться, разговор закончится. Без споров, без ваших «ещё один вопрос». Услышали?

— Услышала.

— Хорошо. Рябинин под дверью. В палату не лезет. У него шаги тяжёлые.

— А у меня?

Она встала, взяла из шкафчика тонкую папку с картами для речевых проб и сунула мне.

— У вас карандаш громкий.

В папке лежали прямоугольные карточки из плотной бумаги: местоимения, простые глаголы, картинки с бытовыми действиями, вопросы крупным шрифтом. Кто? Кого? Кому? Чем? Где? Видимо, для обычных обследований после инсульта или травмы. Здесь они выглядели игрушками, занесёнными в комнату с плохим диагнозом.

Я выбрала несколько: «кто», «кого», «я», «вы», «он», «видел», «нашли», «камеру», «человек». Остальные вернула. Лисицкая выдала мне карандаш и лист без шифра.

— Семь минут.

— По часам?

— По нему.

Она кивнула на дверь палаты.

В коридоре сидел Рябинин, локти на коленях, пальцы сцеплены перед собой. Увидев карточки, он поднялся.

— Мне можно?

— Марта сказала, у вас шаги тяжёлые.

— У меня всё тяжёлое, кроме полномочий.

Он остался у двери. На стуле рядом лежала его папка с копией журнала Ф-4; угол страницы торчал наружу, и я видела строку с 01:32, где Савельев обнаружил камеру. Фиксатор, лента, обесточенная кнопка — всё это было уже событием с проводами, временем, вещами. Сейчас мне предстояло вернуться к человеку, у которого событие проходило через горло и не находило выхода.

Лисицкая приложила карту к замку. Палата открылась.

Тронин лежал выше, чем ночью. Под спину подложили две подушки, к левой кисти добавили мягкую повязку, трубку датчика закрепили ближе к запястью. На столике стоял стакан с трубочкой, рядом — салфетка, сложенная квадратом. Его глаза были открыты. Усталость сделала взгляд тяжелее, но узнавание пришло сразу.

— Резник, — произнёс он.

— Я здесь.

Лисицкая поставила стул справа от кровати, второй придвинула мне. Села сама, но не у изголовья, а сбоку, чтобы видеть и монитор, и мои руки. Дверь осталась приоткрыта; за ней Рябинин, видимо, стоял неподвижно, потому что пол в коридоре не скрипнул.

Я положила на одеяло две карточки: «да» и «нет». Затем подумала, убрала «нет» обратно в папку. С Никиной историей я ещё не столкнулась, но уже успела понять: некоторые слова здесь нельзя класть перед человеком без проверки, как скальпель на край стола.

Вместо этого положила карточки: «можно» и «хватит».

— Павел Андреевич, если нужно остановиться, коснитесь «хватит». Если можно продолжить — «можно». Говорить не обязательно.

Он посмотрел на карточки. Правая рука двинулась медленно; пальцы коснулись «можно». Лисицкая выдохнула через нос.

— Начали.

Я убрала обе карточки к краю одеяла и положила перед ним первую пару.

КТО?

КОГО?

— Я буду задавать простые вопросы. Вы можете указать карточку. Без слов.

Он моргнул. Согласие или усталость — по одному движению века не определить. Я решила не записывать.

— Павел Андреевич, кого нашли в камере?

Пальцы двинулись к «кого». Коснулись края, задержались. Я отметила: быстро, без скачка на мониторе.

— Хорошо.

Лисицкая напрягла плечи, но вмешиваться не стала.

Я положила следующую карточку:

КТО?

— Кто был в камере?

Пальцы поднялись и зависли над одеялом. Тронин смотрел на карточку, словно буквы на ней были слишком яркими. На мониторе пульс пошёл выше. Он попытался сдвинуть руку, но пальцы согнулись и упёрлись в ткань.

— Снимаем, — резко произнесла Лисицкая.

Я убрала «кто». Пульс держался высоким ещё несколько секунд, затем снизился. Тронин закрыл глаза.

— Павел Андреевич, отдых.

Лисицкая поднесла трубочку к его губам. Он сделал маленький глоток, отвернулся. Я сидела с карточкой «кто» в руке и чувствовала, как простой школьный вопрос нагревается между пальцами сильнее любого термина.

Кого нашли — можно.

Кто был — нельзя.

Я записала это без вывода, двумя строками.

После паузы Тронин открыл глаза.

— Продолжим? — спросила я и показала «можно» рядом с «хватит».

Он коснулся «можно».

Следующая проба была мягче. Я положила три карточки:

ПАВЕЛ ТРОНИН

ОН

Я

— Выберите, как сейчас безопаснее назвать человека в палате.

Лисицкая тихо щёлкнула языком, но промолчала.

Тронин посмотрел на «Павел Тронин». Пальцы коснулись карточки. Затем перешли к «он», задержались. Карточка «я» лежала ближе остальных. Он на неё даже не взглянул. Или взглянул так быстро, что я не успела заметить.

— Можно выбрать две, — добавила я.

Он снова коснулся «Павел Тронин» и «он». «Я» осталась на месте.

— Павел Андреевич, а если я скажу: «Яна здесь»?

Его взгляд перешёл ко мне. Спокойнее.

— Верно? — я положила «да» и «хватит».

Он коснулся «да».

— Если я скажу: «Марта здесь»?

Коснулся «да».

Лисицкая буркнула:

— Вот уж радость.

— Если сказать: «Павел здесь»?

Он коснулся «да». Слабее.

— Если сказать: «я здесь»?

Пальцы дёрнулись. Не к карточке. К себе, к груди, но движение распалось на середине. Он втянул воздух, рот открылся, и я увидела, как фраза пытается пройти там, где для неё перекрыли выход. Лисицкая уже стояла.

— Всё.

— Он сам начал движение.

— Да, и дальше начнётся то же, что ночью. Убирайте.

Я убрала карточки. Внутри поднялась злость — не на Лисицкую, на ограничение, на врачебную правоту, на то, что каждая честная проверка становилась жестокостью раньше, чем давала ответ.

Тронин вдруг поднял руку и стукнул пальцем по одеялу. Раз. Второй. Третий. Лисицкая наклонилась.

— Что?

Он снова стукнул, затем посмотрел на лист у меня на коленях.

— Писать? — спросила я.

Его пальцы снова ударили по одеялу. Раз.

Лисицкая сняла с моего листа пустую верхнюю карточку и положила на пластиковую подложку. Карандаш она дала ему сама, вставив между пальцами так бережно, как вставляют ложку человеку после тяжёлой операции.

— Коротко, — предупредила она. — Без подвогов.

Тронин держал карандаш плохо. Повязка на левой кисти мешала, правая дрожала от слабости. Он попытался поставить первую черту, карандаш сорвался, оставил на бумаге тёмную точку. Лисицкая уже хотела забрать, но он сжал пальцы сильнее и провёл две пересекающиеся линии. Получилась звёздочка. Неровная, с лишним хвостом, зато узнаваемая.

Я перестала дышать на пару секунд и заставила себя вдохнуть.

Он написал рядом цифру:

1

После цифры — короткая черта. Затем буква. Не сразу. Верхняя петля смялась, нижняя ушла в сторону, карандаш скрипнул по подложке.

Я.

Получилось:

• 1-Я

Тронин откинулся на подушку, глаза закрылись. Карандаш выпал из пальцев на одеяло. Лисицкая забрала его, положила на столик, проверила монитор. Пульс снова поднимался, но уже без резкого скачка.

— Довольно, — произнесла она. — И даже больше.

Я смотрела на карточку. Звёздочка перед записью была кривой, детской, но смысл от этого не ослабевал. В судебных материалах звёздочки ставят для сносок, исправлений, сомнений. В институтских таблицах, которые я успела увидеть за утро, звёздочка стояла перед формами, которых никто не слышал в живом источнике. Восстановленное. Выведенное. Записанное как существующее без прямого голоса.

Рябинин появился в дверном проёме.

— Что у вас?

Лисицкая резко повернулась.

— Стоять.

Он поднял руки и остался за порогом.

Я взяла карточку за край. Лисицкая перехватила моё запястье.

— Не руками.

— Он сам написал.

— Тем более.

Она достала из ящика прозрачный пакет, такой же, каким в процедурной упаковывали мелкие предметы, вложила карточку внутрь и закрыла полоску. На белой наклейке написала: «лист с записью П. А. Тронина, палата 3-17, время...» Посмотрела на часы, вписала цифры. Ручка у неё шла быстро, без красоты.

Рябинин вытянул шею.

— Можно увидеть?

Марта подняла пакет на ладони. Он прочитал.

— Один Я?

— Один, — ответила я.

— Со звёздочкой?

— Да.

— Это что значит?

Я не ответила сразу. В палате стало слышно, как Тронин дышит. Медленно, тяжело, но сам. На столике рядом с его рукой лежала карточка «хватит», которую я убрала недостаточно далеко; угол касался одеяла. Он мог бы до неё дотянуться, если бы силы остались.

— Индекс, — произнесла я. — Или шифр. Связанный с его делом.

— Из архива?

Я кивнула.

— Сегодня видела в таблице.

— Почему молчали?

— Потому что не знала, что это.

— Теперь знаете?

Я посмотрела на пакет в руке Лисицкой. Звёздочка, цифра, буква. Меньше строки. Больше, чем он смог произнести.

— Теперь знаю, что он хотел это показать.

Лисицкая положила пакет на поднос и накрыла чистой салфеткой.

— Всё. Оба на выход.

— Марта...

— На выход, Резник. Он не ваша улика. Он мой пациент.

Она сказала это так спокойно, что спорить стало стыдно. Я поднялась, собрала карточки.

«Кто» лежала отдельно, лицевой стороной вниз. Я взяла её последней.

В коридоре Рябинин ждал у стены.

— Гурову покажем? — спросил он.

— Да.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.